
Филипп РЕЗНИКОВ

РАССКАЗЫ

СПОЛОХИ

От выстуженного за зиму острова около полудня отошла лодка. Человек в телогрейке и высоких сапогах столкнул лодку с каменистого берега, вполпрыжка настиг ее в воде, заскочил на борт и замер на банке, выжидая, пока суденышко прекратит раскачиваться. Когда оно покорно замерло на темной холодной воде, человек взялся за весла, с силою налег на них и двинулся к противоположному берегу. Весла уныло скрипели в старых уключинах, рушили тишину, наводили своим лязгом одновременно и тоску, и ужас. Словно зверь, изнывающий от ран, звал на помощь.

Человек в телогрейке остановил лодку на середине пути, сложил весла вдоль бортов и кинул взгляд на покинутый остров. Два больших черных валуна смотрели на него с гордым безразличием. Над ними высились три сосны: две высокие, подпиравшие низкое, стального цвета небо, и одна сосенка-подросток, бесстрашно раскинувшая лапы, не боясь ничего — никаких морозов, никакой непогоды. Это он, человек в телогрейке, посадил ее несколько лет назад без надежды, что семя взойдет. Но оно пробилось сквозь безжизненную почву, раздвинуло камни, выглянуло из-под земли и принялось расти, двигаясь в направлении неласкового солнца, появлявшегося редко, неохотно делившегося теплом, больше блиставшего, точно красуясь, нежели светившего. Человеку нравилось жизнелюбие проросшей сосенки. Он не помогал ей выжить, только наблюдал. Ему было интересно, до какого предела она сумеет вырасти, перегонит ли ближайших соседей, пока что властно простиравших над нею свои бледно-зеленые лапы.

Человек извлек из-за пазухи небольшой сверток и положил возле себя на забрызганную водой банку. Он прикоснулся к предмету, завернутому в кусок старой простыни, и тут же отдернул руку, словно тот обжег его сквозь худую ткань. Вновь взявшись за весла, он больше ни разу не взглянул на таинственный предмет, но пододвинул его к себе поближе, к самой ноге.

Взмахивая веслами размеренно, человек смотрел на отдалявшийся остров, три сосны и темную избу в две клетки, выглядывавшую из леса. Ее непросто было заметить с расстояния: она сливалась с пейзажем, напоминая один из валунов, какими был полон остров. Горящие окна избы можно было различить с другого берега лишь в ясную погоду, но для этого следовало дожидаться ночи. Но кто бы стал ее ждать, стоя в густом сосняке, полном странных и таинственных звуков: свистов, хрипов, чихания, поскрипывания, шуршания, топота? Лучше всего изба виднелась в мерцании северных звезд, под серебристым лунным светом. Вид был сказочным, и тем редким путникам, кому

Филипп Александрович Резников родился в Москве в 1981 году. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар прозы С. Н. Есина). Автор книг «Московский театр Олега Табакова. История в тридцати сезонах» (М., 2017) и «Московский театр Олега Табакова. История в тридцати пяти сезонах» (М., 2022). Рассказы публиковались в журналах «Наш современник», «Неман», «Звезда». Живет в Москве.

удавалось приметить на острове уединенное жилище, хотелось во что бы то ни стало выяснить, чей это дом и отчего он стоит на отшибе, в удалении от большого, полнотного поселка. Наводивший справки об острове внятного ответа не получал, разве что узнавал о живущем на каменном острове Мысливцеве — человеке замкнутом, избегающем длинных разговоров, предпочитавшем наблюдать тихую гладь озера и неделями не выбираться на «материк», если в этом не было надобности.

В поселке Мысливцева хорошо знали: некогда он проживал здесь в одном из домов, славился как искусный плотник и столяр, брался за любую сложную работу и каждый раз справлялся с нею. Люди только ахали и разводили руками: как ему удается? Мысливцев не понимал и не принимал похвал, брал деньги за труд и уходил. Он не был бирюком, хотя некоторым хотелось бы выставить его в подобном свете, но и приветливостью не отличался, разговорам предпочитая дело, а развлечениям — размышления, что как нельзя кстати оправдывала доставшаяся ему при рождении фамилия. Родился он не в поселке, а далеко от него, но никто не знал, где именно, потому об этом ходили самые невероятные слухи.

Изба, где он поселился около десяти лет назад, принадлежала прежде деду Матти. Глубокий, почти ослепший старик доживал в ней свой век, а незадолго до встречи с создателем отписал свое жилище, стоящее на высокой подклети, Мысливцеву. То ли оттого, что тот был единственным человеком, посещавшим его и привозившим продукты, то ли оттого, что Мысливцев составлял Матти компанию и подолгу задерживался на острове. О чем говорили двое людей, старый и молодой, не знает никто, но когда Матти отходил (свидетелем стал врач, привезенный Мысливцевым на лодке), он сказал единственному своему товарищу: «Славный ты человек, Вадим, только нелюдимый, как волк. Выходи хоть изредка к людям, обещаю мне». Позже врач утверждал, что Мысливцев якобы ответил: «Вышедшего к людям волка побивают», но это было неправдой. Никаких обещаний деду Матти он не давал, и тот перешел в мир иной, вероятно, с беспокойной душой.

Матти не следовало оставлять Мысливцеву своего дома — лучше было его спалить и сровнять с землей. Старый Матти не смог предугадать, что Мысливцев вскоре переберется на остров и заточит себя в избе на годы. Если бы духи умели являться людям и говорить с ними, дух прежнего жильца сказал бы новому все, что о нем думает, и в словах его было бы поровну осуждения и негодования. К тому же примешались бы к речи такие словечки, каким не стоит появляться на бумаге.

Что до Мысливцева, то он остался благодарен Матти. По завещанию старика он сам выкопал на другом конце вытянутого, саблевидного и узкого острова яму, выгесал простой, но достойный памяти старика крест, оградил могилу камнями и приходил на нее раз в месяц — одиннадцатого числа, в день смерти Матти. Ни с надгробным холмом, ни с разложенными по кругу камнями не говорил, не клал под крест куска черного хлеба, не ставил стакана с водкой. Все думал: а нужен ли могиле крест? В избе Матти не было ни одной иконы. Мысливцев никогда не спрашивал, а потому не знал, к христианскому богу отправился старик или к какому-нибудь другому. Быть может, он встретился с дочерью воздуха Ильматар¹.

Мысливцев сидел на старом пне и слушал, как шумит в соснах и березах ветер, смотрел, как озеро покрывается беспокойной рябью, ковырял носком сапога тусклый, влажный песок. Насидевшись подле могилы, поднимался и уходил восвояси, в избу. Топил печь, пил травяной чай и слушал музыку окрестной природы, улавливая каждый звук, доносившийся снаружи.

Вспоминая о старике Матти, Мысливцев пристал к берегу, привязал лодку у старой пристани, постоял на гнилых досках, опасно пружинивших под ним, прикинул, что

¹ Ильматар — в финской и карельской мифологии богиня, участвующая в создании мира.

до лета нужно заменить их новыми, сунул сверток под телогрейку и, миновав участок редкого леса по едва заметной тропинке, вышел к дороге.

Она тянулась вдоль берега озера и, если пойти направо, вела в дальний районный центр, а если пойти в другую сторону — в поселок, где Мысливцев некогда обитал. До центра было с сотню километров, до поселка же — всего ничего, около часа ходьбы.

Мысливцев двигался быстро. Гнал его и пробиравший до внутренностей ветер, и стрелки на часах, отмерявшие минуты и часы в тот день, когда время для него имело значение. В поселке его сегодня не то чтобы ждали, но знали, что он придет. Он обещал Петру, что явится в субботу с новой работой. Петюня, как его называли люди, распространил новость среди знакомых, а те среди своих приятелей, так что к двум часам в клубе собралась приличная толпа. Одни из подлинного интереса к работе Мысливцева, другие просто из желания поглазеть не столько на работу, сколько на ее автора.

Он знал, что так все и будет, ведь подобное случалось не однажды. Когда он явился с острова в первый раз и представил свою работу, в клубе почти никого не было. Но поселок жил разговорами, так что в следующий раз народу собралось чуть больше, а потом — еще больше.

Мысливцев не любил, когда на него глазели, и это часто служило причиной того, что он передумывал заявляться в поселок и находиться в кругу его обитателей. Но и навечно запереться на острове он не мог: порой ему во что бы то ни стало требовалось прийти к этим людям и показать то, что он делает. Не тщеславие говорило в нем, не амбиция требовала удовлетворения. Трудно удовлетворить то, чего нет. Мысливцев ощущал потребность хотя бы изредка преподносить другим людям плоды своего таланта. Талант — слишком громкое слово. Оно больше идет большим мастерам, чьи работы появляются на выставках, украшают стены музеев и расходятся по частным коллекциям. Талант — высшая награда для человека упорного, любознательного и не стремящегося к сиюминутному успеху. Мысливцев не считал, что у него есть талант. Он, скорее, владел неким ремеслом. Владел худо-бедно и, как он полагал, постольку-поскольку сумел чему-то выучиться, овладеть техникой.

Он знал немало людей, не стыдившихся предъявлять другим то, что следовало скрыть даже от самих себя. Никогда не осуждал их, никогда не понимал, никогда не жалел. Сочувствие к тем, кто не знает себе настоящей цены, не понимает своей вопиющей дешевизны, он полагал невозможным. Если бы спросили, какова цена ему самому, он бы ответил с достоинством: «Не велика и не низка. Она находится посредине между тем, за что следовало бы заплатить, и тем, что гроша ломаного не стоит».

* * *

Петюня был первым, кого Мысливцев встретил в поселке. Тот подждал его, пригостившись на шаткой лавчонке подле старого коровника. Петру Высельцеву давно перевалило за пятьдесят, но для большинства знакомых он по-прежнему оставался Петюней — проказливым, каким его знали прежде, пареньком, обтрясшим немало яблонь и завалившим не один забор. Он был невысок, подвижен и юрок, несмотря на годы, уже оставившие отметины на лбу и лице. Петюня вечно носил серые брюки старомодного кроя и пиджак, причем последний был на пару размеров больше. Он принадлежал его супруге, женщине плотной, с прямыми, широкими плечами, на которых пиджак помещался, как на вешалке. После нее пиджак можно было носить разве что для смеху, но Петюня надевал его по всяким важным случаям.

Высельцев был остер на язык и вечно надо всеми подшучивал. Этой наукой он овладел сызмальства, будучи самым маленьким среди сверстников. Петюня не раз ока-

звался бит, а потому заучил самый главный урок: держаться от неприятеля на расстоянии. Юркости и острословию он выучился именно тогда, чтобы разить недругов и врагов с дистанции, точно из пращи. Как Давид, вышедший бесстрашно против Голиафа.

Вторую особенность Петюня приобрел с годами. Мнительный в отношении собственного здоровья, он утомлял всех врачей, какие только попадались ему на пути. Он заваливал их вопросами самого разного рода и свойства, обращался к ним по поводу диагнозов, поставленных себе самостоятельно при помощи двух медицинских справочников. Один был книгой для фельдшеров, другой — для ветеринаров. Петюня настойчиво молил исцелить его от недугов, обрушивавшихся на него. Если бы он знал слово «ипохондрия», он непременно нарек бы себя ипохондриком, что, безусловно, наделило бы его большим правом обращаться к эскулапам, ведь тогда бы он говорил на одном с ними языке — на греческом.

— Где же Трёшка? — первым делом поинтересовался Высельцев, протягивая Мысливцеву для пожатия мягкую ладонь.

— Помер, — ответил Мысливцев по-деловому, а сам обернулся, чтобы удостовериться, не бежит ли за ним верный пес.

Трёшки не стало в январе, в самую стужу. Пес как-то разом одрях, перестал есть, отказался от питья — от любимого растопленного на печи в миске снега, и тогда Мысливцев сжалился над тварью: вывел на двор и выстрелил в голову из ружья. За мгновение до выстрела человек и собака посмотрели друг другу в глаза, выражая безмерную привязанность, и человек явственно ощутил, что животное благодарно ему за спасенную некогда жизнь.

Встретились они по весне шестнадцать лет назад. Мысливцев еще жил в поселке. Проходя поутру мимо конторы шоферов, он заметил, как пропойца Никодимов забавляется с несмышленным беспородным щенком. Тот тьякал и норовил укусить мужика за руку. Мысливцев поинтересовался, откуда зверь. Никодимов сразу легко сознался, что в соседней деревне отнял его у матери, кормившей еще пятерых щенков. Этого он присмотрел для себя, но теперь, протрезвев, не знал, как бы от него избавиться. Мол, не было забот, так еще этого корми. И тут же назначил за щенка цену — три рубля. Расплатившись с находчивым Никодимовым, Мысливцев поднял пса на руки и тихо шепнул: «Ну что, Трёшка, айда домой!»

Дружба между собакой и человеком завязалась с первого дня, да такая крепкая, что ничем ее нельзя было разрушить. Такого добродушного и любящего существа Мысливцев прежде не встречал. Ласковый пес сделался его постоянным спутником. Когда Мысливцев перебрался на остров, Трёшка не протестовал, хотя на острове ему жилось куда скучнее, чем на поселковом просторе. Некуда было бежать, и пес стал походить на хозяина: мог часами лежать у воды и смотреть на тихую ее гладь. Всякой живности на острове водилось мало, так что Трёшка, едва выпадала возможность, гонял опустившихся на берег птиц.

Трёшка плавал на лодке вместе с хозяином, занимая место на носу. Он был впередсмотрящим и громко лаял, когда суденышко приближалось к берегу. Соскакивая с борта раньше времени, он плескался в прибрежной воде, обдавая все окрест водою.

— Ну же, ну же, будет! — урезонивал его Мысливцев, и Трёшка выбирался на пристань, крутился в нетерпении, ожидая, когда человек потреплет его между ушей и позовет за собой.

В поселке эти двое всегда расставались, расходясь по своим делам. Трёшка бежал по главной улице, заливаясь громким лаем и привечая всех, кто попадался на пути. От сердобольных баб, считавших пса слишком худым, перепало Трёшке разных ла-

комств: и каши, и рыбы, и мясных потрохов. Никогда не наедаюсь досыта, по возвращении на остров он требовал от Мысливцева еды и опустошал поставленную миску подчистую.

После смерти Трёшка сделался тенью Мысливцева: тому постоянно казалось, что пес следует за ним по пятам. Но обернувшись, он видел только яркое пятно крови на белоснежном снегу, оставленное раной от выстрела.

— Давно помер-то? — спросил Петюня, оглядывая Мысливцева с головы до ног.

На деле его больше интересовало, прихватил ли с собой островитянин то, что обещал.

— Не волнуйся, она с собой, — успокоил Мысливцев, понимая, о чем тот беспокоится.

— Сколько времени ушло в этот раз?

— Немного, — ответил Мысливцев. — Не как всегда. Быстро написал.

— Вдохновение? — Это слово маленький человек в большом пиджаке произнес с особым ударением.

Мысливцев только рукой махнул — мол, какое там вдохновение!

— Просто пришло настроение.

— Ох! — воскликнул Петюня. — Я представляю себе этот запах краски! Эти лежащиеся на холст штрихи, эти взмахи кисти!

Мысливцев про себя улыбнулся.

— Вот был бы я художник, как ты, — продолжал спутник, — у меня творческий зуд никогда бы не проходил. Признайся, а?

— Чего?

— Зудит у тебя?

— Не зудит.

— Как это? — растерялся Петюня. — А должно зудеть, — прибавил он вскоре с видом знатока и на время приумолк.

Потом он принялся рассказывать, как скверно прошла последняя зима в поселке, как хоронили одного за другим стариков, а вместе с ними и его, Петюнину, мать. Как долбили кирками землю, как выбивались из сил, предавая покойников земле, как пили на поминках, как он потерял память из-за водки, как неделю приходил в себя, бредя и готовясь отдать Богу душу, как продал кое-что из материних вещей и как жалел, что расстался с ними. Даже заплакал, пока рассказывал, но быстро растер слезы по лицу.

— Что же не приехал никого хоронить? Ты многих знал...

— Не люблю смерть, — сказал Мысливцев, и его ответ удовлетворил спрашивавшего.

— Ты знаешь, сегодня в клубе людей будет поболее обычного, — предупредил Петюня. — Я уж расстарался...

Окна старого клуба — одноэтажного домишки с высоким крыльцом и поблекшим портретом Ленина над входом — были убраны чистыми белыми занавесками. Коврик перед входом чисто выметен. Баба Зоря подготовилась к визиту Мысливцева. Она отчего-то его очень любила, пусть за целую жизнь они перекинулись с ним всего парой слов.

Зоре нравилось, что он не похож на других мужиков поселка: всечасно гладко выбрит и источает едва различимый, а потому приятный запах одеколona. И хоть одевался Мысливцев неброско и небогато, все ему шло: и костюм, и телогрейка с двумя аккуратными заплатами, и высокие, прикрывавшие колени сапоги, никогда не стучавшие по дороге и полу клуба, как у других. Единственное, что Зоря изменила бы в нем, так это манеру смотреть на людей. Не хватало его взгляду открытости, легкой улыбки. Мысливцев либо смотрел на людей холодно, изучающе, либо отводил глаза. Зоря чувяла, что это от смущения, от укоренившейся сильной неуверенности в себе. Прочие ее не разгадывали, принимая за надменность.

Петюня не преувеличил: народу в клубе собралось множество. Были знакомые лица, но все больше незнакомые.

— А этот здоровяк в шапке из райцентра приехал, — шепнул Петюня, желая произвести на Мысливцева впечатление. — Говорит, большой почитатель современного искусства.

— Где я, а где искусство... — ответил Мысливцев.

— На себя почему зря не наговаривай, без тебя наговорят, — тихо затараторил Петюня. — У нас народ простой, сам знаешь: что на уме, то на языке. Правил приличия никто не учил.

— А какие они, правила эти? — Мысливцев извлек из-за пазухи сверток.

Развернуть его сразу он не решился. Захотелось поворотить и вернуться к себе, в уединение.

— Правила простые: необязательно всегда сообщать правду. Для правды свое время. В делах искусства мастеру следует угодить. Не след его обижать, иначе бросит занятие свое, и поминай как звали.

— Что ж дурного, коли бросит? Другие найдутся, кто может и умеет, — не смутившись, ответил Мысливцев, взвешивая сверток на ладони. — В искусстве, как и в природе, царит естественный отбор. Либо ты, либо тебя. Будешь за камнем отсиживаться — навеки там и останешься, и история не узнает о твоём существовании. Потом, может, археологи откопают, подивятся: мол, был такой вид. Был, да и черт с ним.

— Ты погоди так рассуждать. Если талант спугнешь, кто заместо него останется? То-то и оно!

Не желая больше томить публику, Мысливцев легким движением обнажил картину, положил на стол, подвинув громоздкую вазу, установленную бабой Зорей, а старую простыню поскорее спрятал с глаз долой.

Отступив на некоторое расстояние, Мысливцев позволил желающим приблизиться к своей работе и ознакомиться с нею.

В клубе, вместившем три десятка человек, возникла тишина. Только шаркали по деревянному полу ноги да тяжело дышал почитатель искусства из районного центра. Подойти к картине он не спешил, предпочтя выждать, пока ее рассмотрят остальные. Он пытался как бы невзначай изучить самого автора, и Мысливцев знал, что сейчас его оценивают. Наверное, большой человек хотел понять, насколько хорошей может оказаться работа на основании осмотра ее автора. Мысливцев даже радовался, что внимание публики не только сосредоточено на его малозначительных мазках по холсту, но и отвлечено частично на другой предмет. Пусть этим предметом является он сам.

Смотревшие делились на три категории. Представители первой были самыми многочисленными. Они подходили к столу, окидывали небольшое полотно быстрым взглядом и отходили. Вторые, подойдя, задумчиво замирали, действительно рассматривая картину. Третьи проводили перед ней некоторое время, считая, что перед картиной полагается некоторое время постоять. Необязательно даже думать о том, что на ней изображено.

Мысливцеву хотелось, чтобы кто-нибудь из них спросил его о какой-нибудь ерунде, вроде того, как возник замысел, что послужило источником вдохновения, каков второй план. Но публика безмолвствовала. И, как казалось Мысливцеву, была разочарована. В прошлом, когда он приносил в клуб свои картины, слышались шепотки, люди промеж себя что-то обсуждали. Теперь каждый хранил молчание, и для Мысливцева это было недобрым, даже зловещим знаком.

Настал черед человека из райцентра. Он приблизился к столу и бесцеремонно взял картину в руки.

На ней был изображен человек, стоящий к зрителю спиной. Он воздел руки к небу и замер. Слева от него чернело нечто вроде часовой стрелки с крестом, начертанным тонкими линиями. Справа от фигуры высились густой лес. Он был написан почти условно: выделялись лишь острые верхушки деревьев, походившие на наконечники копий. На горизонте виднелась краюха солнечного диска. Определить, восход изображен на картине или закат, было невозможно. Об этом мог рассказать автор, но сейчас Мысливцев, прежде изобразивший рассвет, был уверен, что на картине закат. И мысль об этом вызвала в нем болезненную тоску, ранила самолюбие.

Он понимал, что написать восход стократ важнее, нежели закат: первый предвещает рождение, второй — угасание. Мысливцеву почудилось, что на картине горит закат его собственной жизни, хотя это было не так. Он твердо знал, что человек посередине холста — не он, а старик Матти, поведавший ему о том, что любит восходы и в каждом видит явление человеку создателя.

Здоровяк положил картину на место, распрямился, будто вспомнив, что негоже сутулиться, и отмерил несколько шагов в сторону Мысливцева. Он протянул руку, растопырив пятерню, чтобы прочно ухватить художника за руку, когда тот ответит на проявленный знак вежливости.

— Поздравляю! Поздравляю! — заговорил здоровяк негромким, но отовсюду слышным голосом. Теперь, как прежде в картину, он вперился в глаза Мысливцева и следил за каждым движением его зрачков. У здоровяка были серые глаза, а белесые ресницы то и дело металась вверх-вниз. — Это несомненный успех, ваша новая картина. Мне давно докладывали о ваших, позвольте так сказать, талантах, и я даже видел парочку ваших работ, но эта... — Здоровяк оглянулся на фигуру на фоне восхода солнца. — Это лучшее из виденного мною у вас.

Мысливцев попытался произнести слова благодарности, но здоровяк перебил его, продолжая трясти кисть мысливцевской руки:

— Считайте меня одним из главнейших ваших поклонников. Непременно включите меня в их список. Как только возвращусь в город, усядусь за телефон и наберу нужным людям. Поверьте, имена таковых легко найдутся в моей записной книжке. Ха! Нужно, просто необходимо, чтобы ваши работы появлялись на выставках. Хотели бы вы этого? — На висках здоровяка выступили капельки пота. Он по-прежнему не позволял Мысливцеву говорить. — Может, не сразу в Москве и Ленинграде, но обязательно в видном месте, где обнаружится пара критиков, которые расскажут о вас на страницах своих изданий. А тогда... Но не будем спешить. Всему свое время!

Вместе с Мысливцевым, напряженно и с долей недоверия слушавшим здоровяка, ему внимали и оставшиеся в клубе люди. Среди них и девушка с белыми — финскими, как называл их про себя Мысливцев, — волосами. Она появилась позже всех и долгое время стояла позади. Только когда городской человек заговорил с художником, она подошла к картине.

— Что вы ответите на мое предложение? — спросил здоровяк. Ему наконец потребовалось услышать голос автора.

Мысливцев, словно ища совета, посмотрел на девушку у стола (ее звали Настя Нетунен) и только тогда заговорил:

— Я польщен. Ваши слова крайне лестны... — Он запнулся, не зная имени здоровяка.

— Пал Палыч, — тот снова затряс его руку с удвоенной силой.

— Пал Палыч... Не ожидал, что моя работа вызовет столь горячий отклик, я ведь...

— Как вы ее назвали?

Девушка с финскими волосами еле заметно задвигала губами, словно хотела подсказать ответ.

Он вдруг заметил, что Настя почти точная копия своей матери, и удивился, как властно распоряжается природа: то делает детей похожими на своих родителей как две капли воды, то стирает всякое сходство до такой степени, что даже родня сомневается в существующем родстве.

— Честно говоря, у картины нет названия. Я не даю своим работам имен.

— Очень зря, — укоризненно заметил здоровяк. — Как корабль назовешь...

— Но поэты тоже не всегда дают названия своим произведениям. Иногда их называют просто по первой строке, — слышался Настин голос.

— Поэты вообще странный народ, — ответил здоровяк. — Но они дают названия своим сборникам. Так что, — спросил он у Мысливцева, — как бы вы назвали картину?

— «Одиночество», — неуверенно и обреченно ответил автор.

— Нет, назовите ее «Сполохи», — вновь вмешалась девушка.

По лицу здоровяка было заметно, что ее появление ему не по душе. Мысливцев скосил глаза в надежде, что по этому знаку она поймет — пора поприветствовать коней, если она не хочет все расстроить.

— Время есть, — подытожил Пал Палыч. — Подумайте о названии. Не обложка украсит книгу, но буквы, выведенные на ней.

Здоровяк вернулся к столу:

— Только одно меня смущает в ней... Вот этот крест. Он вычерчен до того несмело, до того тускло, словно так и остался наброском. Вы, вероятнее всего, так до конца и не решились, нужен ли он тут. И я вам скажу: не нужен. Вы его того... мастихином, что ли...

— Уже не получится, — ответил Мысливцев. По коже пробежался холод неприязни к заезжему человеку.

— Что же, пусть остается как есть. В конце концов, вы автор и вам нести ответ за свое творение. В данном случае нести этот свой крест. Ха! Я лишь скромный почитатель вашего таланта.

Здоровяк кивнул Мысливцеву и вышел прочь. Под окнами завелся двигатель его «Волги».

Петюня тоже для чего-то пожал Мысливцеву руку и обронил нечаянно и свое «поздравляю».

* * *

Накануне Мысливцеву тревожно спалось. Обыкновенно сон его был крепок, и он почти никогда не поднимался среди ночи. Теперь же проснулся трижды, и на третий раз его подушка была мокрой от слез.

Сон, виденный уже не однажды. Повторный киносеанс, где все совпадало до детали, где ничто ни на йоту не отклонялось от написанного кем-то сценария, где главным героем был он, Мысливцев.

Снилась давно покинутая Москва, старый спальный район, полный тенистых зеленых уголков. Снился двор, где прошло его детство.

Мысливцев шел к нему от станции метро: мимо похожих друг на друга пятиэтажек, мимо заброшенного детского сада с черепичной верандой. Стоило замаячить впереди краешку его собственного дома, такого же, как все остальные, и на глаза наворачивались слезы. Оказавшись же во дворе, Мысливцев по неясной причине отчаянно рыдал. Тело его сотрясалось от всхлипов так сильно, что он пробуждался, садился на постели и продолжал рыдать уже наяву, остро переживая сновидение, чувствуя ровно то же, что чувствовал до того, как открыть глаза. Было больно. Мысливцев ощущал потерю чего-то неведомого, чего-то, чему не получалось подобрать определение. Воз-

можно, это было самое детство — легкость, отсутствие забот, присущие первым годам жизни. Потом все это у ребенка отбирают, и он внезапно делается взрослым. Вернее, все вокруг думают, что он достаточно взросл.

Быть может, об утрате прежней легкости бытия и плакал Мысливцев. Или же объяснение было проще простого: он скучал по большому городу, по месту, где прошла важная часть его жизни, по квартире, где все еще жила его мать, получавшая от него скупые письма и лаконичные открытки несколько раз в год. Мать и сама писала не особо пространно, но это он приучил ее к этому. Она давно не спрашивала, когда он вернется; он никогда не писал, возможно ли такое вообще. Мать была уверена: настанет день, и Мысливцев вернется — вероятно, ее самой уже не будет. Он размышлял о неотвратимости поездки, отдавая себе отчет в том, что только он один будет повинен в той горечи, какую она ему принесет. Он не любил думать о смерти, а та, похоже, нередко думала о нем: когда, обернувшись ветром, разгуливая по острову, качая верхушки сосен и обтрясывая березы, когда кренила борта лодки, норовя столкнуть его в воду, когда облачалась в одежды беззубых и молчаливых старух, глядевших на него в поселке как-то особенно пронзительно и с осуждением. Он не знал их имен и сомневался в том, что они здешние. Они словно появлялись вместе с ним для того лишь, чтобы показаться ему на глаза неприятным напоминанием о том, что может случиться потом.

* * *

— Ну, ты видал?! — Петюня попытался не то обнять, не то повалить Мысливцева на пол. — Это ведь я, я привез его сюда!

— Так уж и ты? — уточнил Мысливцев.

— Я поспособствовал. Выступил посредником. Ишь! Вот же, итить, знаток! А ты, Вадим, того... Прислушался бы к его совету. Такие люди попросту советами не бросаются. У них чуйка есть. Раз сказал, что надо с картины что-то убрать, значит, надо.

— То есть как это?

— Я так понимаю: автор, когда у него зудит...

— Да не зудит у меня!

— Ладно-ладно, не кипятись! — Петюня склонил голову набок. Его худое, невзрачное тело утонуло в пиджаке. — Автор может заблуждаться. Ну, понимаешь, в творческом экстазе. Автор имеет право ошибиться. Конечно, никто его винить не станет — все мы люди-человеки. А вот такие, как Павел Павлович, — он произнес имя подчеркнуто вежливо, — и призваны, чтобы ошибки подмечать и исправлять.

— Кто же он такой? — не скрывая усмешки, спросил Мысливцев. — Критик или, может, доктор искусствоведения?

— Какой ты... колючий! — Петюня явно обиделся. — Не желаешь никого слушать, так и скажи. Будем помалкивать.

— Знавал я по молодости одного такого критика, довелось учиться вместе, — заговорил Мысливцев через какое-то время, заворачивая картину в тряпку. — Решил он однажды со мной начистоту об одной моей работе поговорить. Начал умеючи: «Это у тебя здорово получилось, молодец, — говорит. — Но я уверен, что у тебя тут есть кое-какие ошибки». Что ж, решил я, вдруг он прав. Спросил, что неверного он видит в работе. Тут обнаружилось, что прямо сейчас он говорить не готов: «Я позже скажу. Точно знаю, что огрехи есть». Поверил я ему. Не до конца, конечно, но поверил. Проходит неделя, другая — встречаемся. Спрашиваю: что, мол, скажешь? Он мигает в ответ глазами, словно не понимает. Говорю: «Какие же ошибки ты нашел в моей работе?» Он руками разводит — нечего, дескать, сказать. На том и разошлись. Вот тебе и «точно знаю, что огрехи есть». Критикуй, да не зарывайся, излагай по существу.

* * *

На порядочном удалении от клуба его нагнала Настя. Пошли вровень.

— Вы написали картину иначе. Не как прошлые.

Мысливцев бросил на нее краткий взгляд и тут же перевел его под ноги. Он вдруг оробел, и сердце неприятно сжалось в небольшой, громко стучащий комок.

— Прежде вы не рисовали на картинах людей. Только в том вашем блокноте, что вы однажды обронили, были карандашные головы. Очень, по-моему, искусные.

— В портретах я не силен, — ответил он.

— Нет, неправда. Вы сильны во всем, что делаете. И я не лгу. Мне это ни к чему...

— Перестань называть меня на «вы». — Мысливцев резко остановился.

Настя раскраснелась от быстрого шага, и краснота эта не шла к ее белым волосам.

— Не надо на «вы», — повторил он мягче. — Все же родная кровь как-никак.

Настя опустила лицо. Она была точь-в-точь мать: тот же лоб, тот же нос, та же тонкая шея, та же фамильная краснота, возникавшая в минуты душевной смуты, сильных переживаний, огорчения.

Девушка, стоявшая перед Мысливцевым, была его дочерью. Только сегодня, только сейчас он ощутил, что они действительно, как он сам сказал, родная кровь. Прежде он не произносил при ней подобных слов. Всегда старался сохранять дистанцию, как бы она ни старалась приблизиться к нему, как бы ни хотела завести разговор. Она никогда не затрагивала тему их родства, но Мысливцев знал: рано или поздно это произойдет. Ей долго доставало терпения молчать. Выходит, терпения не хватило ему самому — невыносимо оказалось слышать, как она обращается к нему как к чужому, постороннему человеку. Да, он чужой: ушел из семьи, едва ей исполнилось три, не появлялся, ни дня не был для нее отцом и по большому счету впервые заговорил с нею здесь, в клубе, пару лет назад. Она как раз оканчивала школу, интересовалась его работами и приходила каждый раз, как он заявлялся с острова.

По первости Настя с отцом не заговаривала — кивнет и удалится. Но в один из дней набралась смелости и сказала несколько слов о новой картине. Это был простенький пейзаж — вид на его остров. Настя спросила, не холодно ли ему жить в таком месте. Мысливцев покачал головой.

— Это очень красиво написано, — сказала она тогда. — Это ведь реализм, да? Простите, я совсем не разбираюсь. Я математику люблю и биологию тоже. Хочу стать ветеринаром.

Благодаря нескольким предложениям он узнал о ней намного больше, чем знал до этого.

— Я сама никогда не рисую, — призналась она, — но хорошо черчу. По черчению твердая четверка. А если постараюсь, могу и на пятерку выйти.

Мысливцев понимающе кивнул.

— Вам очень идет молчаливость. Если бы меня попросили определить характер художника по его картинам, то про вас бы я сказала, что вы молчаливый и одинокий. Почему одинокий? — переспросила она, хотя он ничего не сказал. — Посмотрите на две эти сосны. Они стоят рядышком, но при этом отчуждены друг от друга. Они словно не позволяют себе прикоснуться к соседке лапами. Им хочется одиночества. Но им холодно. Вы нарисовали очень холодную воду. В такой погибнешь за минуту. Тут же ногу сведет — и пойдешь ко дну...

Они шли по поселку. Настя поотстала. Мысливцеву хотелось, чтобы она, не прошившись, поворотила назад, к своему дому. Так было бы проще. По крайней мере, ему.

— Ты предложила дельное название — «Сполохи», — сказал он, видя, что она продолжает идти. — Я бы сам не догадался.

— Это очень просто, — ответила Настя. — У вас мазки как сполохи.

— Ты снова за свое!

— У тебя... — мгновенно исправилась Настя. — И фигура человека среди сполохов — это очень красиво. Это вы — человек на картине?

— Нет, не я, — твердо ответил он.

— Я уверена, что это автопортрет. — Настя была предельно серьезна. — Когда человек долго пишет природу, а затем переходит на изображение человека, он не может не сказать о себе. Это вернее всего — сказать сначала о себе.

— Где ты такое вычитала?

— Нигде. Я так считаю. И я уверена, что ты — человек в центре картины. То есть вы. Вы являетесь центром изображенного мира.

У Насти от волнения приподнялась и замерла, изогнутая дугой, одна бровь.

Мысливцев извлек картину на свет, отбросил к обочине страшную старую тряпку и еще раз показал написанное дочери.

— Это не могу быть я! — воскликнул он с раздражением. — Это старик Матти!

— Нет, я не верю, — сохраняя спокойствие, ответила Настя. — Это ты. Ты стоишь спиной, чтобы никто не видел твоего лица, потому что его покрывает печаль. Точно такая, какая сейчас. Ты скрыл от мира седые волосы, появившиеся над твоим лбом. Ты не стар, но седина прибавляет тебе лет, и ты стесняешься этого, я чувствую.

— Неправда, — глухо отозвался Мысливцев.

— Еще ты отвернулся от мира, не желая смотреть ему в глаза. Слишком сильна обида — твоя обида на мир и обида мира на тебя.

— Меня никто не обидел.

— Пусть так. Но кое-кто в этом мире обижен тобой.

Мысливцев пожал плечами.

— А крест? Как ты объяснишь крест? Я атеист, я в вашего бога не верю. — Он попытался ухватиться за спасительную соломинку, но та тут же переломилась.

— Думаю, он символизирует твой страх смерти, боязнь собственного исчезновения. Именно поэтому ты написал крест таким нечетким. Словно исчезающим. Или, наоборот, проявляющимся.

Убежденность, с какой она объясняла его собственные образы, поражала и обезоруживала Мысливцева. Могло ли быть, чтобы Настю кто-то намеренно подговорил, вложил в уста нужные слова? Нет, в округе вряд ли сыскался бы подобный человек, а значит, все шло напрямую от Настиного сердца, и все сделанные ею выводы были только ее разумением.

— Видишь этот сполох справа? — она указала ему на нечто размытое в углу картины. — Уверена, что здесь ты изобразил мою маму.

— Прости, как ты сказала?

— Этот сполох — моя мама. Ты выбрал для него цвет ее волос. Ты кропотливо смешал краски, чтобы добиться нужного оттенка, и у тебя получилось.

— Извини, — перебил ее Мысливцев, — но этого не может быть.

Он сунул картину в темную пещеру телогрейки. Ему хотелось сорвать холст с подрамника — столько боли возникло из-за того, что он посмел изобразить. Конечно, посмел, потому что, чтобы говорить, нужна смелость.

«Выходит, — рассуждал он про себя, — что другие могут увидеть в созданном тобой нечто совершенно иное, противоположное по мысли? Нечто, чего ты не предполагал? Неужто все искусство состоит из подобных нелепиц и ложных трактовок?»

— Да, я, наверное, не права, — согласилась Настя. — Напридумывала черт-те чего. Простите...

— Я никогда не любил твою мать, никогда не вспоминал о ней после ухода, и мне незачем изображать ее в виде сполоха на дурацкой картине, — зло сказал он.

— Она не дурацкая! — воскликнула Настя. — Она живая!

— Моя встреча с твоей матерью — ошибка, — беспощадно продолжал человек в телогрейке. — И все, что между нами случилось, ошибка. Случайность.

— Вот как? — Настя захлопала густыми ресницами. — Значит, и мое появление — случайность? Значит, я сама — твоя ошибка?

Если бы ад существовал, он должен был незамедлительно развернуться и поглотить Мысливцева со всеми его трясушимися потрохами. Но земля даже не дрогнула и твердо держала на своем теле двух людей, вставших друг против друга, как во время поединка.

— Нет, разумеется, ты не ошибка... — Мысливцеву требовалось оправдаться.

— Если ты не любил маму, ты не любишь и меня.

У Мысливцева кольнуло между ребер.

— Люблю, — тихо произнес он.

Девушка с финскими волосами тут же скрыла подурневшее от красноты лицо за ладонями, и нельзя было угадать, плачет она или улыбается.

Остаться Мысливцеву было нельзя. Сказано слишком много, и сказанного не вернуть. Ветер уже разнес слова, поведая о них высоким соснам.

Не помня себя, он добрался до пристани, сел в лодку и принялся грести что было мочи. Прибыв на остров, вошел в избу, бросил ненавистную картину в угол, затопил печь и лег на постель. Дождавшись нужного часа, закрыл на печи заслонку, не раздеваясь, забрался под одеяло и уснул мертвецким сном, каким обычно спят моряки после крепкого шторма, изрядно потрепанного их судно.

* * *

Прежний сон. Мысливцев возвращался во двор детства. Едва только завидел окна своей квартиры, как потекли слезы — не остановишь.

Двор был мал. В нечетких, эскизных воспоминаниях он представлялся больше. Куда подевалось пространство, прежде вмещавшее его с товарищами игры, дававшее повод для выдумок и приключений? Не могло же пространство за время скукожиться. Вероятно, оно разрослось в памяти, вообще склонной к преувеличению приятных воспоминаний и обману того, кому принадлежит.

Мысливцев искал тополь, прежде росший против его окна. Тополь исчез. Он и тогда, годы назад, был стар. Мысливцеву вновь захотелось разрыдаться — до того ему мечталось обнять это дерево, свидетеля его проказ, его взросления и спешного отъезда из дома. Они не виделись с тополем со времени окончания Мысливцевым школы.

Он вглядывался в темные окна своей квартиры. За стеклом в его комнате все еще висела подвешенная на нитке красная звезда. Он вырезал ее из стенки картонной коробки, выкрасил гуашью, проделал отверстие для нитки и закрепил при помощи куска пластилина. За это ему досталось: пластилин оставлял на белой краске жирные отметины.

Открытая подъездная дверь поманила к себе. Он поднялся на третий этаж. Звонить не пришлось — дверь была приоткрыта, словно его давно ждали. Стоило Мысливцеву переступить порог, как из глубины трехкомнатной квартиры послышался материнский голос, не изменившийся с годами: «Вадим, это ты? Заходи пока. Мне надо

договорить с тетей Леной. Тебе от нее привет». Странно: тетя Лена умерла двадцать лет назад от рака.

На кухне шептало радио, зазвучала песня. Слышалось, как по дну раковины бьют тяжелые капли. Кран подкапывал.

Первая дверь налево вела в большую комнату. Всю мебель из нее куда-то вынесли, оставив возле окна дубовый стол, за которым Мысливцев когда-то делал уроки. Поверхность испещрена царапинами. Немудрено — стол служил не одному поколению Мысливцевых. Вадим не знал, довелось ли посидеть за ним прадеду, сгинувшему в Карелии в девятнадцатом году. О нем сохранилось мало сведений: он был коммунист и милиционер. Вот, пожалуй, и все. Еще отец уверял Вадима, что прадед-милиционер был приличным художником, рисовал плакаты и портреты бандитов. Это ничем не подтверждалось, и Мысливцев всегда считал эту часть биографии предка вымыслом.

— Садись за стол. Бери бумагу и рисуй, — послышался властный голос отца, каким он всегда говорил, когда речь заходила о занятиях рисованием.

Самого отца не было видно.

Мысливцев покорно сел за стол к приготовленным для него бумаге и карандашу.

— Рисуй! — повторил голос.

— Что?

— Рисуй человека.

Перед столом появился отец. Глубоко посаженные глаза недобро уставились на сына. Не желая спорить, Мысливцев начал рисовать портрет отца.

— Не годится. Бери новый лист.

Мысливцев вновь принялся за портрет, и легкие, точные линии покрыли белое полотно листа.

— Чудовищно! Ты ничему не учишься! — закричал отец. — Недотепа, неумеха, негодяй! Как ты не поймешь, что только мастерство портрета позволит тебе иметь в жизни хлеб. Ты развратил себя рисованием пейзажиков и натюрмортов. И эта женщина, твоя сердобольная мать, во всем тебе потакает. Но я вылеплю из тебя человека, если надо, разомну, как глину, и вылеплю. Ты будешь рисовать людей, как я тебе велю. Сперва меня, затем всех наших родственников. И когда набьешь руку, я найду тебе первый заказ. И ты его выполнишь, потому что я так сказал.

— Я не стану рисовать людей только потому, что ты так хочешь, — с вызовом ответил Мысливцев.

— Нет, станешь!

Он помнил, как вечерами отец сидел за столом, опустив голову на руки. Сидел неподвижно, долго. Он был архитектор, но ни один его проект не приняли — его идеи хвалили, но считали нежизнеспособными, ненужными. И он как проклятый чертил проекты типовых домов — до изнеможения, до злости, до отчаяния. У одних бывают муки творчества, у него же не прекращалась мука без творчества.

— Я сделаю из тебя человека! — грозил отец.

В его руках появилась тяжелая металлическая линейка, и он принялся бить ею Мысливцева по пальцам. Он поступал так каждый раз, когда ему не нравилась работа сына. Стегал и стегал; линейка свистела и свистела в воздухе. Серебристый взмах — и неотвратимый удар.

В четырнадцать лет Мысливцев был уверен, что его избитые руки никогда не будут способны на тонкую, изящную работу. Его рисунки становились все более невнятные: образы словно растворялись в тумане, краски бледнели. И свистело то и дело серебряное крыло отцовской линейки, призванной вернуть в руки сына растрачиваемый им попусту талант.

— Поразительно, что ты до сих пор не усвоил ни одного урока! Отцы желают продлиться в сыновьях. Сумею ли я продлиться благодаря тебе?

Мысливцев сделал несколько штрихов и ответил:

— Боюсь, что во мне продлятся твоя желчная злоба и неспособность никого любить. Руки отца задрожали.

— Ты постоянно нажимал на меня, как на грифель, — продолжал Мысливцев, — и я, как грифель, ломался. Ты переламявал меня, точно карандаш. Ты ломал меня и ломал — и я сломался. Если бы в твоих словах и поступках присутствовала хоть толика любви, кто знает, может, и вышел бы из меня толк. Презирай меня сколько угодно, но твердо помни одно: несмотря ни на что, я добился, чего хотел. И вот эти самые руки, беспощадно избитые твоей линейкой, многое умеют и могут.

— Негодяй, — повторял оторопевший отец, — недотепа, неумеха, халтурщик...

Слова не имели значения — грифель больше не ломался.

* * *

Спустя несколько дней, пробудившись до зари, Мысливцев долго бродил по острову, беседовал с камнями на могиле старика Матти, всматривался в затянутое дождевыми облаками небо, выискивая хоть один просвет. После прибрался в избе, запер на замок погреб, собрал самое необходимое в вещмешок, столкнул лодку в воду и переплыл на другой берег. Добравшись до поселка, оставил на пороге Настинного дома сверток с последней картиной, зашел к Петюне с просьбой срочно разыскать ему попутку до райцентра.

В райцентре купил на вокзале билет в одну сторону и уехал в Москву.

РАЗОБИДЕЛАСЬ

Бежала, бежала, и все мимо гаражей. С одной стороны гаражи, с другой перелесок. Солнце светит, погожий день, а все равно страшно. И людей не видно, и машины по дороге не едут. Странно: Танька никогда здесь прежде не бывала. Вроде от школы недалеко, а такое запустение, такая тишь!

Остановилась. Коленки дрожат. Обернулась — никого. Думала, Юрка за ней побежит. Вот гад! Ему бы извиниться перед нею. И чего, спрашивается, бежала. Зазря, можно сказать.

Сердце ходуном ходит, и реветь охота.

Первый день лета, каникулы начались, а у Таньки одни огорчения: трояк по химии и Юркины обидные слова. Первое — неприятно, второе — ранит больно, глубоко.

Дневник ляжет перед матерью вечером, когда та вернется с работы. Танька уже не раз представляла эту сцену. Мать сидит на кухне под низким круглым абажуром. Свет лампы выхватывает из сумерек только стол. На столе стакан чая, в нем ложка. Мать никогда не вытаскивает ложку, когда пьет. Ей привкус алюминия сахар заменяет.

И вот пьет она чай, а Танька кладет перед нею дневник с отметками за последнюю четверть и за год. Мать отставляет стакан, стряхивает с платья хлебные крошки. Для нее дневник точно книга — на другое чтение времени нет. С раннего утра на заводе, у станка. А еще руководит бригадой. Вечером ужин, чай, новости по телевизору. Когда доходят до международных отношений, мать щелкает выключателем — это ей уже неинтересно.

Щелчок служит особым знаком: мать ложится спать. Значит, нужно стать тише воды и ниже травы и не шуметь в своем углу, отгороженном плотной занавеской.

В Танином уголке места только для узкой кровати, тумбочки и небольшой книжной полки. Еще ей досталась часть окна. Это везение, что можно глядеть наружу до самой поздноты, особенно летом, когда сон не идет до рассвета. Да и когда рассветет, можно отвлечься от мечтаний, от звездного далекого неба и взяться за книжку. Танька читать любит.

...И вот мать раскрывает дневник на первой странице. Танька советует открыть сзади — отметки там. «Цыц!» — просит не мешать мать. Она будет листать от начала. В каждую неделю заглянет. Дневник — хроника Танькиной жизни, потому что тут, помимо отметок, еще и записи о ее поведении. Мать говорит, что все девочки как девочки, одна она не такая, как все. Что же, пусть думает про нее, что хочет. Танька могла бы рассказать, как Лисичкина и Новикова курят за школой на переменах, как их вызывали к директорше, как ругали на собрании класса. Но Таньке ни к чему прикрываться недостатками других — она такая, какая есть.

«Вертелась весь урок, мешала другим», — написал учитель физики на второй неделе обучения. И ладно бы Танька была первоклашкой, так ведь восьмой класс окончила! За вертлявость отсадили ее на последнюю парту. Огорчилась: привыкла в середине сидеть, к доске поближе.

«Опоздала на $\frac{1}{4}$ часа». Это уже рука математички на страницах хроники. А кто виноват, что грузовик с «москвичом» столкнулся? Не Танька же. Шофера на дорогу выскочили и так знатно матерились, что ей захотелось выслушать каждую из сторон. Потом милиция приехала, и усатый сержант спросил у нее: «Девочка, ты почему не в школе?» Танька шуганулась и бросилась на урок. Вот тебе и четверть часа.

В последней четверти учительница химии, не постеснявшаяся влепить твердой хорошистке Таньке тройку за год, написала в дневнике: «Много мечтает. Учителя не слушает. Проявляет равнодушие к науке». Последнее замечание ой как несправедливо: Танька всегда интересовалась науками, какими бы сложными они ни были...

Но Танькиной вины тут снова нет. Нечего было сажать ее вместе с Юркой. Юрка — отличник в точных науках, вот и решила Надежда Олеговна, что он сумеет Таньке помочь, подтянет ее как следует. Только помощи от Юрки никакой — он покрасоваться любит, обожает, когда его хвалят. Сразу гордый делается — смотреть невозможно. Зазнайка тот еще. Не нравилось это Таньке в нем, но все равно — влюбилась. Влюбилась, а он на нее не смотрит. Невмоготу за одной партией сидеть. Какая уж тут химия! Танька отвернется от Юрки и по сторонам глядит — на таблицу Менделеева, на портреты ученых. Только не на Юрку. А он ее под локоть толкает: «Не зевай, списывай с доски в тетрадь, сейчас сотрут». И как тут, скажите на милость, учиться? Кое-как к тройке пробилась.

Как увидит мать тройку, так и охнет. Качнется круглый абажур.

— Ну-ка сядь, — скажет мать.

Поводит пальцем по отметкам в таблице и остановится на «печальном недоразумении». Танька придумала это определение, чтобы смягчить материнский гнев. Но мать иной породы — ее ничем не успокоишь. Никакие объяснения не помогут, никакие аргументы не спасут.

— Поясни, — потребует она.

— Я же говорю: печальное недоразумение. Ошибка, случайность, просчет.

— В чем же ты просчиталась? — У матери разговор короткий.

Танька могла бы поведать, что просчиталась не она, а Надежда Олеговна, но разве матери такое откроешь? Та еще пуще рассердится. Она как-то говорила, что в Танькиной жизни прежде всего учеба, потому что потом она поедет в город поступать в институт. Все остальное — малозначительно. Особенно подчеркнула, что нужно вывести из головы мысли о парнях. Да только как их выведешь, когда они назойливы, как мухи?

Вообще-то, Танька влюблялась редко. За всю жизнь случаев — пальцев одной руки хватит. Но уж если посещало ее чувство, воспетое поэтами, то надолго. Одна беда — взаимности Танька никогда не находила, потому мучилась от неразделенности чувств до той поры, пока они сами не сходили на нет. А как сходили, так возвращались к Таньке былые легкость и беззаботность.

— Мама, давай прекратим, — попросит Танька. — Обещаю, что в следующем году к пятерке стремиться буду, чтобы в аттестате хорошую отметку вывели.

Мать, конечно, поглядит на Таньку с недоверием, захочет возразить, но Танька такими жалостливыми глазами на нее посмотрит, что у матери язык не повернется продолжать. Закроет дневник, вернет дочери. А та будет рада-радехонька, что окончился допрос. Побежит в комнату, щелкнет выключателем на телевизоре — как раз к началу новостей. Мать опустится в комнате в глубокое кресло, поставит руку на подлокотник да обопрется щекой на ладонь...

Скрипнула гаражная дверь, показался на свет невысокий мужичок, все лицо маслом перемазано. Стоит, грязной тряпкой руки вытирает и на Таньку глядит. Похолодело у нее в животе — дальше побежала. Пора бы остановиться, а она все бежит. Ясно же: Юрке до нее дела нет, он догонять не станет.

Вот уже и лес по обеим сторонам дороги тянется. Мелькнули в просветах искристая озерная гладь, одинокие домики, засеянное поле, увязший в грязи трактор. Танька все бежит и не знает, куда дорога ее выведет.

Увидела холм и тропинку на нем — забралась наверх. Там железнодорожная колея — старая, заржавленная. Видать, поезда давно не ходят. Кровь в ушах стучит, и представляется Таньке, что локомотив ей навстречу движется. Налево посмотрела — ничего, направо — сворачивает железная дорога, не понять, что за поворотом. Слушает Танька: птицы поют. И разнотравье так приятно пахнет, разомлев на солнце, что хочется броситься на траву, раскинув руки, и позабыть обо всем.

Танька сидит на горячем рельсе, а слезы так и просятся наружу. Нет мочи терпеть — заревела.

«Разобиделась!» — вспоминает она Юркин голос.

Стоит, гад, перед нею, в лицо смеется. И это на школьном-то пороге, где все увидеть могут. А коль увидят, так вся школа знать будет, что у Таньки с Юркой шурымуры. Неприятно даже представлять. Ровесники-то злые: и подначивать будут, и подшучивать, и говорить разные скабрёзности. Трудно в мире влюбленному человеку — это Танька давно поняла.

— Ты еще расплачься, — добавляет Юрка. — Чего дрожишь? Не дрожи, не зима — лето!

Жуткий насмешник. Это про него все знают. Порой не разберешь, когда Юрка серьезен, а когда дурака валяет.

Сбежала Танька с железнодорожной насыпи на другую сторону. Там тоже дорожка, почти нехоженная, хоронящаяся под сводом деревьев. Пошла по ней. Уже не бежит — жарко, силы истаяли.

Приметила тонкий ручеек. Присмотрелась: откуда он?

Сошла с тропинки. Почва влажная, пружинит под ногой. Видит Танька: бьет из-под земли ключик. Наклонилась, зачерпнула ледяной воды.

Освежилась. И все равно — до чего ж нехорошо ей!

Юрка ведь сам позвал: «Завтра в девять у школы. Разговор есть».

Ночью глаз не сомкнула — ждала. Притворилась спящей, когда мать на работу уходила. Как дверь хлопнула, поднялась.

Чего только за короткую летнюю ночь себе не надумала! Вдруг полыхнула мысль: «А что если он меня тоже полюбил и признаться хочет?» Нет, быть такого не может!

Тогда чего ж ему нужно? Неразрешимая загадка. Только бы дожидаться утра, а стало быть, и ответа.

Не завтракала, все принаряжалась. Два красивых платья у Таньки есть: каждое по три раза надела, оба не понравились. Стукнула с досады по дверце шкафа, но третье платье не появилось. Выбрала голубое, в полоску. Туфли черные, с пряжками. Волосы в хвост собрала. Хороша собой — так про себя и подумала. Только чем бы конопушки смыть? Они только маленьким девочкам идут.

У матери осмелилась духи взять — нанесла капельку на шею. Благоухание жуткое. На матери запах смотрелся, а Таньке не подошел.

Вышла за полчаса, хотя до школы пять минут. Кругами ходила по окрестным дворам. А как пришла, так никого у школы нет. Неужели обманул Юрка?

Глядит на часы — три минуты десятого! Вздохнула Танька — пора уходить.

— Не кисни! — вдруг возглас Юркин.

Идет и не торопится. Руки в карманы, кепка набекрень. Воображала тот еще.

Она решила держаться с ним строго, хотя наружу только ласковые слова просились.

— Ну, чего звал? — спрашивает.

— Да так, — отвечает Юрка, — узнать кое-что хотел.

— Узнавай, — требует Танька.

Снял кепку, выжидает. Она встала на две ступеньки выше, чтобы еще строже на него глядеть.

— Тут ребята говорят, что ты втюрилась в меня. Так или не так? — говорит парень прямо и без обиняков.

— Что за ребята? — переспрашивает Танька.

— Мои ребята.

— Раз говорят так твои ребята, значит, больше моего знают.

— А ты что скажешь, правда это?

— Тебе-то что за дело?

Танька непреклонна, а на языке всего три слова вертятся: «Хороший мой, прехороший...» Совсем голову заморочил.

— А мне интересно, — усмехается Юрка и поднимается к ней повыше. — Я вот сейчас проверю, не зря ли они на тебя наговаривают.

Юрка целует Таньку прямо в губы. Она с силой отталкивает его от себя:

— А ну отойди!

Ее прежде никто не целовал.

— Что ты за человек такой? — вскрикивает она тонюсеньким голоском, какой бывает у нее в секунды волнения.

— Самый обыкновенный, — отвечает Юрка, надевая кепку задом наперед. — Вижу теперь, что взаправду любишь.

— Проверил, значит?

— Ага, — довольно отвечает парень.

— Катись теперь на все четыре стороны!

Юрка смеется:

— И покачусь. Дел прорва.

Танька сбегает с лестницы и устремляется прочь со школьного двора.

— Да стой ты! — окликает Юрка. — Что ты будешь делать! Разобиделась!

Она бежит с обидой в груди, а сама вспоминает сладость Юркиного поцелуя. И сладость, и горечь. Каков наглец! Насмеялся над нею! Теперь вся школа знать будет...

Танька все пьет из ручья, никак жажду утолить не может. Смачивает водой горящие щеки, прикладывает мокрую ладонь к груди — никак не успокоит выпрыгивающее сердце.

Села на камень, трогает пальцами мох на нем — прохладный, нежный, точно бархат. Закрывает Танька глаза и пытается ни о чем не думать. Чувствует, как скользнул по плечу пробившийся сквозь листву солнечный луч. Для нее все равно что человеческое прикосновение. Стала успокаиваться.

У ног ручеек журчит, где-то жаба квакает. Стучит неутомимый дятел, бежит в траве полевка.

«Тройку-то я выправлю, — говорит себе Танька, — а что со смутой в душе делать, как мать поднявшуюся разогнать?»

Жалко ей себя до невозможности, но плакать на сегодня хватит.

Танька читает вслух Лермонтова:

И долго на свете томила она,
Желанием чудным полна...

Прочла и улыбается себе самой. Спасает поэзия от разочарований, греет. Вышла Танька на солнечный свет — радостно ей. Думает о Юрке: хоть и наглец, а такой красивый, такой замечательный. Как не любить?

— Разобиделась! — слышит она его голос.

И смеется.

ЭКИПАЖ

Под зеркалом заднего вида качается динамовский вымпел. Карпюк давно не хвастался успехами команды. Прежде, бывало, рассказывал вздохом, но поостыл, догадался, что командиру футбол не так интересен, как ему. Когда-то вместе ходили на стадион, но теперь Кривошеина туда не заманишь.

Карпюк знает все обо всех; со школьной скамьи ведет особые тетрадки со статистикой, клеит на разлинованные страницы вырезки из газет, фотографии. Записи делает убористым почерком, чтобы тетрадок хватило надолго. Самая первая начата в восемьдесят третьем.

У командира, старлей Кривошеина, увлечение товарища вызывает добрую, хотя немного снисходительную улыбку. С другой стороны, увлеченные, преданные какому-либо занятию люди восхищают его. Что, правда, он тщательно скрывает. Сам Кривошеин ни к чему подобным образом привязаться за всю жизнь не сумел, но азарт нумизматики, дотошность филателии коснулись в свое время и его. Ныне старые класеры задвинуты в задний ряд.

Патрульный автомобиль стоит в тени ветвистого дерева. Солнечные лучи обнаруживают разрыв в его густой кроне и спят Карпюка, сложившего руки на руле. Он отворачивает лицо и тогда чувствует легкое жжение на щеке. Откидывается в кресле назад, но так его клонит в сон, манит прерванное будильником сновидение, и он возвращается в прежнее положение и ослепленно щурится. Старлей не выдержал бы, завел двигатель и откатился назад на метр. Карпюк не таков — перетерпит.

На заднем сиденье молчит стажер Саша. Он сопровождает экипаж третий день. Саша малоразговорчив, живет внутренней жизнью, и старлей, кроме имени и фамилии, почти ничего о нем не знает. Расспросить бы его хорошенько, разведать, что Саша за фрукт — однако Кривошеину не хочется тащить подробности клещами.

Саша высок ростом, в салоне «жигуленка» ему тесновато: чтобы не тереться макушкой о потолок, он неудобно съживается, и колени упираются в кривошеинское сиденье, периодически давят на него, особенно на поворотах.

Саша носит потертые джинсы и старую черную кожаную куртку, под которую надета синяя рубашка с рядом матовых пуговиц. Лишь одна из них отличается размером и глядится иначе. Она пришита светло-серыми нитками, и это бросается в глаза. Видимо, пришивалась наспех, быть может, сегодня утром. Затрапезный вид стажера вызывает у старлея некоторое сочувствие, но ненадолго — в конце концов, какое ему дело до нелюдимого и мрачноватого парня, похожего на длинный шест? Пока тот не спросит, Кривошеин сам ему ничего не расскажет. Это он твердо для себя постановил — строго и принципиально. Пришел учиться, набираться опыта — будь добр, раскрой рот и спроси. Не маленький. Знание само в черепашку не заскакивает, его посадить нужно. Непреложный закон, уясненный старлеем еще в школьные годы.

— На дачу собираешься? — интересуется Кривошеин у Карпюка.

Сержант вздыхает:

— Надо бы, теща просит.

— Не просит, а требует, — весело поправляет старлей. — Не понимаю, чего ты на нее горбатишься. Сказал бы раз и навсегда: дом ваш — вы и обихаживайте.

— Не могу. Надюха просит, как откажешь? А то скандал. Не люблю скандалов.

— Едут на твоём горбу третий год, — усмеяется Кривошеин. — Дальше — больше.

Карпюк пожимает плечами:

— Ерунда, дело житейское. Силы есть, отчего не приложить?

— Приложил бы к чему-нибудь своему, — советует старлей почти по-отцовски, хотя они ровесники. Карпюк даже старше на месяц. — Я же тебе сватал прошлым летом своего соседа. Взял бы у него участок с домиком. Дом снесешь, свой построишь. Руками, которые на тещу задаром работают. Место хорошее: озеро, станция рядом. Что еще надо?

— Да, места там красивые... — мечтательно вспоминает Карпюк прошлогоднюю вылазку с Кривошеиным.

За нее сержанту досталось. От тещи, конечно. Не прибыл, так сказать, для выполнения ответственного поручения по починке крыши. Потом еще Надя головомойку учинила. Карпюк не вынес — драпанул в выходной из дома, отсиживался в дежурной части с Сергеичем, выслушивал избитые анекдоты, отвечал на звонки, когда Сергеич ленился снимать трубку. Целый день домой показаться боялся. Кое-как наскреб на большой букет, заявился назад в первом часу ночи, одарил супругу цветами. Та приняла подарок молча. Утром оттаяла, разбуженная цветочным ароматом. Карпюку сошло с рук. Перед тещей, однако, предстал через неделю. Явился почти что с повинной.

Кривошеин давно приметил: сержант пополнел. Наметилось пузико, залоснились щеки. Женился и сидит на добрых хлебах. Распустился. Надо сделать замечание. Потоварищески. Как-нибудь позже, не сегодня.

— Ты, главное, не женись, — Карпюк неожиданно поворачивается к стажеру. Ему хочется с юмором обыграть свой диалог с командиром. В присутствии постороннего ему неловко.

Стажер делает вид, что не слышит.

— Тихий сегодня день, скучно, — сержант смотрит на палисадник под окнами пятиэтажки. Из старых покрышек сооружены находчивыми жильцами клумбы.

— Я попросил, чтобы нас не трогали, — отзывается старлей.

У Карпюка загораются глаза:

— Да ладно? И что сказал Сергеич?

Кривошеин лукаво смотрит на товарища, и тот моментально сообщает, что его разыграли.

— Вот гад, опять развел! А я верю!

Теперь уже старлей обращается к стажеру:

— Не будь таким доверчивым, как наш сержант, иначе кранты тебе и твоей карьере в органах.

Саша поднимает задумчивые глаза и ждет, не прибавит ли старлей еще чего-нибудь. Тот молчит, про себя раздражаясь: «Крепкий орешек, ничем не проймешь!» Сашино присутствие его угнетает. Мало того, что молчит, так еще строит из себя невесть кого. Кривошеин таких людей недолюбливает, величает про себя потаенными; они вызывают в его душе смуту. Сам он человек простой, открытый. Рубаха-парень, иными словами. Ты ему слово — заговорит с тобой, невзирая на чин и сословие; не гнушается перед генералом. Лишнего не скажет, меру всему знает. Кривошеину с людьми легко, а им с ним — еще легче. Стоит старлею прийти в отдел, как все вокруг оживает: и работа кипит и спорится, и товарищи больше улыбаются, и обнаруживаются новые темы для обсуждения, хотя всякие разговоры давно набили оскомину. В коллективе, казалось бы, обо всем давно переговорено, все знают друг друга как облупленных, и порой с утра такая тоска — сказать нечего! Но Кривошеин всегда найдет, с чего завести разговор, придумает, как расшевелить местный народец. Он как тот солнечный луч, что досаждал Карпюку, только в отличие от луча приносит пользу. Есть, конечно, кадры, которым он не по нраву, но всем мил не будешь, на всех не угодишь.

Навстречу движется поливальная машина, разбрызгивая из сопел искрящуюся воду. Карпюк упреждающе сигналил, чтобы водитель прибрал мощность струй и не окатил их. Пробуждается радиостанция. Сергеич в несколько раздраженной манере общается о семейном конфликте на Казарменной. Соседи дважды звонили. Выдержав паузу, Кривошеин отвечает:

— Пятьдесят пять-сорок один, «Калуга». Пошли кого-нибудь еще. Этот адрес знаю. Обычная кухня. Поорут и угомонятся. Синяки буянят. Прием.

— Тебе че, впадлу? — скрипуче хохочет Сергеич. — Ехай, больше некому.

— Незаменимые, е-мое! — ругается старлей.

Карпюк нехотя заводит двигатель.

— Ну что, Саша, — говорит Кривошеин стажеру, — вот теперь настоящее боевое крещение. Эти двое вытрясут из тебя душу. За карманами следи, а то останешься без сбережений.

Он через зеркало глядит на Сашу, на его бедную одежду: «Какие уж тут сбережения, — думает про себя, — это бы не порвалось, и то слава богу...»

Мелькают витрины ателье и магазинов, аптек, булочных и киосков печати, светофоры и перекрестки — большой красивый город.

Из форточки беспокойной квартиры свисает наружу авоська с парой пустых кефирных бутылок. На балконе цветочные ящики с кривыми, растрескавшимися деревянными бортами. На бельевой веревке качаются растянутые семейные трусы.

Кривошеин решительно входит в подъезд, где поджидает вызывавшая наряд соседка. На ней домашний халат и сланцы. Полустершийся, облупленный красный лак на ногтях ног.

— С вечера глотку рвет, — жалуется женщина, преграждая милиционерам путь. Ей нужно выговориться за вынужденную бессонницу. — То орет, то замолкнет. Помни-те, как это было у Пушкина: «То как зверь...» Я посменно на вахте в институте сижу. Там разве поспишь? Не прикорнешь ни на минутку... — Она явно преувеличивает.

Кривошеин деликатно отодвигает женщину в сторону и звонит в звонок.

— Так заходите. У них всегда открыто, — подсказывает она. — А звонок сто лет не работает. Они провод перебили. Нарочно, между прочим!

— Мы дальше сами разберемся, вернитесь к себе.

Старлей стучит кулаком в дверь и, не дожидаясь ответа, входит внутрь.

В нос бьет запах чего-то тухлого. На лампочке в прихожей, свешивающейся удавкой с потолка, застыл таракан. Потрясывается и гудит старый «Минск».

Кривошеин, а за ним Карпюк проходят в большую комнату и приглядываются к склоке. Кричащая хозяйка замечает их не сразу. Из ее рта вырываются изобретательные матерные выражения. Некоторые из них Кривошеину до сих пор не были известны. Муж орущей женщины награждается самыми нелестными прозвищами и эпитетами. В том, что он импотент, не сомневается даже старлей: нормальный мужик не стерпел бы подобных помоев, выливаемых на него без остановки. Хозяин квартиры худ, голова его трясется на тонкой шейке, глаза, словно вдавненные, тонут в черепной коробке.

На полу кухни лежат вповалку водочные бутылки. Виднеется коньячное горлышко. Значит, был гость: местные травятся только беленькой.

Стажер Саша, позабыв про робость, деловито проходит на кухню, невозмутимо осматривает разорение и грязь. Грязь течет из каждого угла; она скопилась везде, где подыскала себе место. По шкафам с посудой, дверцы которых с мясом оторваны, снуют товарищи того таракана, что замер в прихожей. В тарелках на столе объедки, бычки, шкурки от колбасы, рыбные хребты и корки черного хлеба. Наблюдая за Сашей, Кривошеин не без удовлетворения отмечает про себя, что стажер, вероятно, не так безнадёжен. По крайней мере, проявил хоть какой-то интерес к происходящему.

Старлей опускает руку хозяйке на плечо. Та вздрагивает и умолкает. Наступает тишина, о которой мечталось соседям.

Нарушителями покоя нет и пятидесяти. Но образ жизни, оскотинивание (Кривошеин не может вспомнить, где вычитал это словечко) сделали свое дело: перед ним сорокапятилетние или около того старики. Лицо женщины покрыто морщинами; возле правого уголка губ неприятный воспаленный шрам. В ушах дешевые крупные серьги, какие носят раскладушки на привокзальных площадях. На пальцах кольца; одно даже с камушком. Скорее всего, бижутерия. Если нет, то это повод задать вопрос, откуда у алкоголички непропитые драгоценности. Если и было в этом доме что-то ценное, то давно снесено в ломбард и оставлено там навсегда.

— Че вперся, мусор? — хрипло вопрошает хозяйка, пуча страшные глаза.

— Приперся, чтобы тебя заткнуть.

— Ага, на-кася выкуси, — она сует ему под нос грязный кукиш, затем поворачивается боком и хлопает себя по костлявому заду. — Дорогу я тебе указала. Доберешься сам как-нибудь.

— Выбирай выражения, — вступает Карпюк, мечтающий поскорее убраться подальше отсюда или хотя бы оказаться на свежем воздухе, — иначе я тебя в два счета заластаю.

— Заластает он! — гогочет хозяйка. — Заласталка не отросла еще!

— Прекращай, — одергивает ее Кривошеин. — Помолчи-ка, пока мы говорим. Соседи не впервые жалуются, жить вы им не даете. Поставь себя на их место.

— Больно надо! — огрызается женщина, но уже не так дерзко. По взгляду старлея она догадывается, что шутки шутить он не намерен. — Да нехай жалуются... — прибавляет она. — Гришина вообще проститутка, кобелей штабелями складывает. Музыка слушают по полночи, ржут, как лошади! — как бы в оправдание своих собственных проступков сообщает она.

— Вот что, — решает Кривошеин, — собирайтесь.

— Че ты гонишь?

— В отдел вас доставлю, пусть дежурный решает, что с вами делать. Посидите пару суток в обезьяннике, попридете в себя.

— Портки надену и поеду, как же! — хозяйка встает в позу, складывая руки под животом.

— Жучкина, собирайся, я сказал, — приказывает Кривошеин. — И мужа своего собери. Раз-два!

— Я Жукова, — обиженно поправляет она.

— Погоди, начальник, не суди нас строго... — подает голос муж, полагая, наверное, что он последняя надежда на благополучное разрешение конфликта. — Детишек Бог не дал, зарплату сначала ополовинили, потом совсем с завода поперли...

— Ты чего несешь, индюк? — хозяйка хватает его за грудки. — Рехнулся?

Старлей тянет за ремень, и в его руках оказывается автомат. Стажер Саша делает шаг назад, не понимая пока, что, демонстрируя оружие, Кривошеин проводит профилактическую работу, приструняя буйных граждан.

— Ты че... Ты че сразу-то? — хозяин вырывается из рук жены и встает между ней и старлеем, словно желая прикрыть ее своим тщедушным телом. — Поняли мы, поняли. Ниже травы, тише воды...

— С... ты позорная, ментяра! — гоношится хозяйка, толкая мужа и намереваясь накинуться на Кривошеина. Карпюк со стажером вовремя хватают ее за руки и препровождают на диван. Женщина некоторое время пытается высвободиться, но силы быстро покидают ее.

— Пустите ее... — чуть не со слезами шепчет муж.

Он вытягивает руку в сторону прихожей, словно приглашая непрошенных гостей к выходу.

Кривошеин буравит попритихшую женщину взглядом. Ее глазки быстро бегают под насупленными бровями, источая злобу и ненависть. Старлей убежден, что сегодня из этой квартиры уже не раздастся ни звука, а что будет завтра — не его забота. Пусть участковый ходит и увещевает. На подобные вызовы не наездишься. Тут, как говорится, нужно лечить причину, а не следствие.

— Они же продолжают дебоширить, — произносит Саша, садясь в машину.

— Ага, — соглашается Карпюк.

— Можно же что-то предпринять?

Карпюк поправляет динамовский вымпел. На капоте патрульного автомобиля расположилась кошка. Она умывается и не обращает на людей внимания.

— Горбатого могила исправит, — произносит Карпюк задумчиво, — только она.

Сержант тормозит напротив кинотеатра. Старлей подходит к табачному киоску и берет две пачки сигарет. Должно хватить на пару дней. Если смена без особых происшествий, Кривошеин от нечего делать курит чаще, да и Карпюк вспоминает, что когда-то покуривал, и таскает у командира сигареты.

Остановка у кинотеатра — привычный ритуал. Карпюка и просить не нужно — сам припаркуется, кивнет Кривошеину: мол, давай, я подожду. Покупать сигареты можно в любом другом месте по пути следования, однако в этом киоске работает Ирка. Бывшая пэтэушница, отчисленная весной по дисциплинарной части. Кривошеин, которому девушка вечно строит глазки, рассказывает ее историю каждому встречному-поперечному, до того она ему нравится. Ирку как-то застукали в путяге пьяной: с утра заливалась пивом с подружками. На следующий день с порога — к директору. Он спрашивает, как все было, пила ли она. Ирка отнекивается. Говорит с директором, а сама чувствует подступающую мутоту — вчерашние возлияния даром не прошли.

И чтобы только отделаться от допроса, восклицает: «Я на занятиях не пила, только на переменах!» И в тот же момент блюет на пол директорского кабинета.

Ирке Кривошеин очень нравится. Она все время приветствует его: «Товарищ лейтенант, здравствуйте!» А он поправляет: «Старший!» — и показывает на три звездочки. Девушка уже несколько раз звала Кривошеина на свидания, но он вежливо отказывал, отвечал, что человек занятой, семейный. Но это, к удивлению Карпюка, не мешает ему с нею кокетничать и заигрывать. По правде, ему даже немного завидно: Ирка красивая, звонкоголосая, в теле, но в разумном пределе. Такие женщины Карпюку по нраву.

Сегодня он подсчитал, сколько они с Кривошеиным знакомы. Вышло двадцать два года. Ирка не родилась еще. Восьмилетку отучились вместе. Он вечно сидел позади Кривошеина, и тот вполне оправдывал свою фамилию: на контрольных оглядывался, кривил шею, садился полубоком, чтобы списать. В такой позе его от раза к разу ловили учителя. Списывал он не всегда, но на физике и химии постоянно.

Карпюк ничего не жалел для друга. Однажды даже уступил девочку — Галку из соседней школы. Приглянулась она ему: через знакомых выведал ее телефон, принял-ся названивать, один раз выманил на прогулку, а потом увидел, как Кривошеин ходит с ней под руку с этакой котовской лыбой на пол-лица. Кривошеин, конечно, про сердечные дела друга ничего не знал: Карпюк не успел ему рассказать. Была первая влюбленность, и он переживал ее в одиночестве, заточив в сосуд своего пылкого сердца.

Все три месяца, что Кривошеин посвятил Галке, Карпюк оставался тайно в нее влюблен, но виду не подал. А потом разлюбил. Стоило только другу порвать с ней и объявить: «Не представляешь, какая она дрянь!» Карпюк подробностями не интересовался. Привык верить Кривошеину на слово.

Перед окончанием восьмого класса встал насущный вопрос: что дальше? Мать уговаривала Карпюка доучиться в десятилетке, а потом штурмовать институт. Он же глядел на друга.

— Куда пойдешь?

— В школу милиции. А ты?

— И я с тобой, — тут же придумал Карпюк.

Мать огорченно заметила:

— Становишься тенью Артемки...

Так оно и было. Карпюку оказалось проще следовать, быть ведомым, чем ступать самому. Вероятно, на каком-то жизненном этапе это и угнетало его, но не сильно. Жить не мешало.

В школу милиции он так и не попал — остался со своим классом, окончил десятилетку, как и хотела мать. Потом ушел в армию, не стал завязываться с институтом. А вернувшись, вступил в ряды милиции по предложению Кривошеина.

Служили поначалу в разных отделениях. Карпюк рядышком с домом, в серой трехэтажке, куда в школьные годы, то есть не так давно, доставляли хулиганов из числа его одноклассников и сверстников. Отделение располагалось вблизи Дворца пионеров, где некогда Карпюк занимался плаванием. Возвращаясь зимними вечерами домой по темноте, он засматривался на горящие окна отделения, гадал, что творится сейчас за этими стенами. Карпюк не имел приводов, а потому даже представить не мог, как все внутри устроено.

Кривошеин заступил на службу в отдел ОВД на шоссе, в паре кварталов от дома. До смены добирался автобусом, пока не стал владельцем подержанной «лады» со скрипучими тормозными колодками. В отдел к Карпюку перевелся пару лет назад и оказался в одном экипаже с другом. Было неловко: одному отдавать приказы, другому —

исполнять их. Но приноровились. Карпюк быстрее. Кривошеину же непросто далось быть командиром над тем, с кем он сызмальства водил дружбу. Не хотелось порою говорить в приказном тоне, выговаривать, если имелась причина. Но приходилось. Карпюк понимал и, будучи виноват, признавал ошибки.

Спустя время Карпюк понял, что привязался к Кривошеину бесповоротно: куда тот, туда и он. Бывало, идет Артем по отделению, заглядывает в кабинеты, чтобы со всеми поздороваться, а Карпюк следует за ним. Точно — как тень. Пришлось себя переламывать, становиться более независимым, искать собственные занятия, пока командир увлечен своими делами.

Так жизнь и шла: немного спеша, не делая остановок. Карпюк оглядывался на уже прожитое и жалел: и ушедшего времени (думалось, что успеть можно было больше), и невозвратимости пролетевших годов. Только на минувшей неделе говорили с Кривошеиным, что десять лет пролетело с окончания восьмилетки. Как прошло это время, отчего так быстро? Оба понять не могли. Впрочем, подобные вопросы больше волновали сержанта, чем его командира. Тот плыл по течению с наслаждением, отдался ему всецело, позволяя нести себя куда угодно и как угодно.

Иногда Карпюк не спал по ночам, все размышлял: есть ли о чем вспомнить, чем гордиться? Оказывалось, что вроде как есть. Выдыхал облегченно — значит, все не так плохо. Мысли шуршат в черепушке, тревожат сознание, спать не дают. Сознание одно, а мыслей тьма.

Спешит мимо на вызов «скорая». Они все еще стоят у кинотеатра. Кривошеин курит, облокотившись на машину, и постукивает пальцами по нагретой крыше. Дым залетает в салон. Саша отмахивается, воротит нос от табака.

Погода ясная. Плывут куцые мелкие облачка. Для второй трети осени жарковато.

— Ладно, давай прокатимся, — предлагает старлей.

— Куда? — уточняет Карпюк.

— Без разницы.

Сержант проезжает до конца улицы, сворачивает в узкий переулок, вглядывается в сумрак тупика, где часто собирается неформальная молодежь, ниферы. Сейчас там пустынно. Он выруливает на проспект, замечает вывеску универсама и вспоминает, что так и не купил новый матрас, хотя деньги давно отложены. Еще нужны новые сковородки, кофейник, магнитола. Надя уже устала твердить. На все нужно отложить, обо всем упомнить. Чуть забудешь — Надька в крик: не любишь, не замечаешь, не ценишь и так далее.

Кривошеин вглядывается в лица людей на тротуаре. Грозит пальцем подростку, перебегающему дорогу в неполюженном месте. Он морщит лоб, быстро двигает зрачками, стараясь уловить всякое движение снаружи. Иногда Карпюку представляется, что его командир, как тот киборг из боевика, постоянно сканирует улицу и ее обитателей, за долю секунды собирает необходимую информацию, обрабатывает ее, анализирует, фильтрует. По утрам Кривошеин несколько минут проводит у доски с портретами людей, объявленных в розыск, запоминает каждое лицо. Запомять мало — нужно уметь лицо прочитать, даже если перед тобой нечеткая ксерокопия, попытаться угадать, что за человек это лицо носит, каковы его возможные повадки, как он думает, скоро ли соображает, окажет ли сопротивление при задержании или покорно поднимет руки. Карпюк не умеет читать портреты, как командир. Может, просто ленится. Пробегается по доске поверхностно, для галочки. Запоминает мало. Смотрит на доску, потому что так надо. Все смотрят. Его дело — баранку крутить. Старлей сам как-нибудь разберется, что к чему. Даст приказ — и Карпюк бросится выполнять. Таков порядок.

— Ну-ка стопани, — просит старлей возле рынка.

Карпюку пока неясно, что привлекло внимание товарища. Он провожает взглядом старуху, волокущую за собой тележку с обломанными колесиками; рассматривает инвалида, стучащего по земле жестяной кружкой и требующего милостыню; следит за челноками, тягающими груженные клетчатые сумки. Ближайший к дороге прилавок обвешан шарфами и шальями; на вмятой в области носа голове манекена покоится выдавшая виды соломенная шляпа; какой-то шутник вонзил в нее воронье перо. Среди людских ног снует облезлый пес, принюхиваясь к следам, выискивая пропитание. Сердце Карпюка сжимается: он не может без жалости смотреть на бездомных животных. На улице с каждым годом их все больше. Иногда в дежурку сообщают о покусанных гражданах. Сбившись в стаю, обозленные жизнью, доведенные голодом до отчаяния, собаки терроризируют жителей района, мстя сразу всем за то, что их когда-то приручили, а затем бросили. Нападают редко, обычно обступают со всех сторон, скалят зубы, громко лают. Чтобы человеку стало действительно страшно. Если нападение все же происходит, о происшествии все сразу узнают. Один раз псы едва не растерзали мальчишку, спешившего в школу. На его удачу, мимо проезжал наряд — собак спугнули сиреной, громкими криками. Укушенный с десяток раз ребенок рыдал, глядя на сочащуюся из ран кровь; навсегда остался заикой.

Стажер Саша опускает стекло и вглядывается в разношерстную толпу.

— Чеченцы? — негромко спрашивает он у командира, и тот кивает.

Только теперь Карпюк замечает группу бородатых молодых людей возле бывшей киноафиши. В наши дни она служит доской объявлений и обклеена листочками всех сортов. Можно приобрести что угодно. Попробуй найти любовь если не на всю жизнь, то хотя бы на короткий промежуток времени — набери семь цифр, и какая-нибудь Ксюша или Алла выкатит тебе преysкyрант, не стесняясь слов и выражений, устанавливая себе цену в твердой валюте, в американских долларах. Кто попроще, запросит свои, родные, «деревянные». А захочешь поднять себе настроение, наверняка отыщешь среди листов тот, что выведет тебя на людей, толкающих маруху или клевер, а может, и герасима с мукой. Увидишь, что кто-то «готов на любую работу», — припомни всех, кто перешел тебе в жизни дорогу, кто мешает тебе ею наслаждаться. По объявлению быстро сыщется тот, кто по сходной цене избавит тебя от проблем.

Внимание со стороны экипажа заставляет чеченцев насторожиться. Они сбиваются в стаю, как те собаки, о которых размышлял сержант, озираются, предчувствуя недоброе. Карпюку пришлось бы по душе, если бы сегодня устроили шмон — все что угодно, лишь бы навести на рынке минимальный порядок. Но порядок начальство наводить не хочет. Кто-то получает солидную мзду, чтобы рынок работал бесперебойно.

— Хозяева жизни, — цедит сквозь зубы Кривошеин, не спуская глаз с засуетившихся чеченцев. Он крепко вцепился взглядом в старика с серебряными нитями бороды. Тот сжимает и разжимает пальцы на набалдашнике трости, постукивает ею по асфальту, заплеванному и усыпанному подсолнечной шелухой.

— Привет, начальник, — без почтения обращается старик к Кривошеину, выдвинувшись из стаи парламентаром. Позади него нервно передергивают плечами два мальчишки невысокого роста. Один придерживает левый борт куртки, опасаясь, наверное, как бы не выскользнула на свет волына.

Старлей подмечает это ерзанье, но виду не подает, все еще впиваясь глазами в старика. Другого это быстро вывело бы из себя, но пожилой чеченец терпит. Он наклоняется, заглядывает в салон, видит насупленного Карпюка, настороженного Сашу.

— За товаром пришел? — голос старика звучит нагло. — Сегодня хороший скидка для тебя. В прошлый раз что жена сказал, когда ты мой ветродух дом принес?

Старик врет, чтобы вывести экипаж из себя. Никогда Кривошеин не имел дела с местными чеченцами, фена у них не брал и на рынок навевывался лишь по служебной необходимости.

Саша приподнимает тонкие брови.

Кривошеин резко открывает дверцу, и та упирается старику в бедро. Тот не думает отступить, и старлей чувствует твердую противодействующую силу. Никому не заметное противостояние вызывает в Кривошеине очередной прилив злости.

— Мне вроде ничего не надо, — отвечает он, переставая давить на дверцу. — А что предложишь?

— О! Есть ковры, вот такой ковры! — В старике пробуждается торгашеская натура. — Не Китай, гарантия! А хочешь, телевизор Япония, э? Только принесли. Два штук, возьмут быстро.

— Откуда принесли? — насмешливо переспрашивает Кривошеин, но чеченец не поддается на поддевку.

— Склад Подмосковье.

— Значит, у тебя и ковры, и телевизоры?

— Э! — восклицает старик. — Зачем меня? Это Олег товар и Андрей товар.

— Что же здесь тогда твое? — задает старлей намеренно глупый вопрос.

— Я старик, я просто смотрю тут, — с деланой обидой отвечает чеченец. — На ковер сидишь, телевизор смотришь, фрукт кушаешь, — рассказывает он так сладко, чтобы сидящие в машине могли себе это представить.

Старлей оборачивается к Карпюку и подмигивает. Тому разговор не нравится.

— Так что, идем? — приглашает чеченец в свои владения и тянет дверцу на себя. Уже старлею приходится сопротивляться, чтобы не дать ей открыться.

Владения старика простираются широко: врезаются в некогда тихий двор, полный зеленого прохладного покоя. Теперь вместо детской площадки прилавки; под деревья свалены пустые картонные коробки, сломанные ящики, бумага, пакеты; гниют фрукты. Дворник давно проклял местных торгашей и метет только у подъездов, не собираясь связываться с разнузданным рынком, говорящим на разных языках. В подъездах нестерпимая вонь: торговцы скрываются на лестницах, ведущих в подвалы, чтобы справить нужду.

С утра до позднего вечера старик чеченец обходит торговые ряды, напоминающие узкие кривые улочки какого-нибудь средневекового городишки. Он знает всех, и его знают все. Скорее всего, на рынке никто без его приказа, без его разрешения не смеет дышать, не то что вести дела. Он большой человек. Спроси его сейчас, кто замочил Митьку Кривого два года назад, он, конечно, деликатно промолчит, но молчанием своим, суровым взглядом из-под бровей сообщит о многом.

Кроме старика, были и другие претенденты на место под солнцем, то есть на крышевание рынка. Теперь сверху на них давит земля, как прежде давил груз ежедневных прегрешений. Православные кресты отбрасывают тени на их могилы, внушительные памятники высятся в кладбищенских сосняках, привлекая внимание проходящих. Щербатый армянин Газарян упал с крыши девятиэтажки минувшей весной; ребят Олега Кумарина и его самого нашли с перерезанными глотками в одной из наемных квартир на бульваре. Об этом тоже мог бы поведать взгляд старика, но за взгляд не судят.

— Телевизор, скидка! Идем, начальник! — снова приглашает чеченец, указывая в глубь страшных торговых рядов. Кривошеин чувствует, что они затянут, как трясина, и не идет.

— В другой раз, — отвечает он. — Дела пока есть. Но ты жди, — прибавляет он тише, — мы придем.

Сказанное звучит как вызов.

— Как знать, — говорит старик, — мы ведь тоже ждем.

Экипаж едет в тишине. Карпюку понятно молчание командира. Саша задумчиво водит пальцем под носом, по едва пробившимся усам.

— В дурацкие игры играем! — не выдерживает наконец старлей, как будто только что не он сам в них играл.

Кривошеин редко говорит о политике, считая ее предметом для себя посторонним, но уж если начинает, то его не остановить.

— Грозный взяли, Грозный сдали. Ребят положили. Кто их вернет? А эти... Живут теперь припеваючи, да еще и по своим правилам. Не только там — везде! — Он замечает выппел. — Чего на игры не зовешь? Давно не ходили. — Карпюк пожимает плечами и сворачивает налево, к кинотеатру, превращенному в мебельный салон. — Валера Сухотин трижды в командировках был, ты же знаешь. Уже после первой свихнутый вернулся. Сам про себя говорил: «Я свихнутый». Скажет и ржет. Помнишь? Эх, Валерка... Сначала молчок молчком, слова не выудишь. Сидел в дежурке. Уткнется в бумаги, словно и нет его. Тень отца Гамлета... Потом попросился назад, в экипаж. Опасно было его пускать: задержанным так руки крутил... Дважды ломал. Хорошо, полковник прикрыл.

Карпюк качает головой. Они проезжают мимо его дома, и он смотрит на окна своей квартиры. Наверное, Надя сейчас на аллее, катит коляску по шуршащему гравию — гуляет с сыном.

— Посадили Валеру в дежурку, — продолжает командир. Карпюк и сам знает историю Сухотина, но слушает, как в первый раз. — Неделю посидел — вновь к начальству: мол, отправьте во вторую командировку. «Мало тебе?» — «Не знаю. Но здесь мне не место». Отпустили. Прибыл назад через два месяца. Не человеком — зверем смотрит. От прежнего Валерки вроде как ничего и не осталось. Все его избегают, и он это видит. Мрачнее сотен туч ходит, и кажется, что все и все вокруг ему ненавистно. Что-то клокочет в нем, вырваться хочет, что-то злое... Тебе, помнишь, какую отповедь прочел?

Карпюк кивает.

— Напомни, — просит командир.

— Говорил, что настоящему мужику место там, где война.

— А ты?

— А что возразишь...

Кривошеин извлекает из кармана служебную книжку. Карпюк замечает, что он пялится на пустые строчки.

— Третья командировка. В последний день Валерку подстрелил снайпер. Вот такой простой сюжет.

— Вы к чему это все? — спрашивает Саша.

— Чечня, Чечня, Чечня — только и слышишь отовсюду. Заполонили все эфиры, дышать не дают. Взять бы бомбу да и... — Кривошеин чувствует, что сейчас хватит лишка, и умолкает на время. — Ты сам видел этих, с рынка. Ты для них никто. Харча на асфальте, на которую наступить противно. Они тебя к стенке поставят и расстреляют, а ты и не пикнешь.

Саша хочет возразить, но старлей поднимает руку, чтобы тот не начинал.

— Нянчимся с ними, как...

— Что поделаешь, — разводит руками Карпюк.

— Рули давай, деятель, — раздраженно отвечает командир.

Несколько минут он успокаивается, приводит мысли в порядок:

- Извините, кипит на душе. Иногда не смолчать. А надо бы.
- Ничего, — отвечает Карпюк. — Перекурим?

Радиостанция хрипит и выдает в эфир голос дежурного:

— Ткацкая, девятнадцать, корпус два, подвал жилого дома. Гражданин сообщил, что его грабят.

— Пятьдесят пять-сорок один, «Калуга». Выдвигаемся, — принимает вызов старлей, щелкая тангентой. — Как дела, Сергеич?

- Б..., — отвечает дежурный, — жрать охота.
- Все хуеешь? Думал, не выдержишь, — подтрунивает Кривошеин.
- Б... — отзывается голос.

Карпюк включает сирену, резко тормозит и разворачивается через две сплошные, заставляя запаниковать водителей на встречке.

— Ладно-ладно, — как бы успокаивающе говорит он им, — нам нужно.
— Вежливый какой, — смеется старлей. — Ты еще выйди раскланяйся.
— Я знаю этот адрес, — по-деловому сообщает Карпюк, — недавно компьютер там брал. Пентиум! — довольно восклицает он, но на старлея это не производит никакого впечатления. — Батя как-то заходит — он же у меня типа инженер — спрашивает: может эта штука с формулами работать? А я сижу, в «Дум» гоняю. Не знаю, говорю, бать. Никчемная штука, значит, говорит он. И весь интерес к ней на том исчерпал.

— Про фирму скажи, — строго просит командир.

— Ну это... Подвал большой. Жарко у них там, трубы кругом. Ступеньки вниз углом. Ступенек десять, потом поворот, и еще десять, а там входная дверь...

Старлей не дослушивает и снова щелкает тангентой радиостанции.

- Это пятьдесят пять-сорок один, «Калуга». Кроме нас, кто-то еще едет?
- Смирнов со своими на подходе. Вы где?
- Да тут, рядом с пожаркой.
- Принято.

Кривошеин перекладывает автомат на колени. Карпюк обращает внимание на проступающие через кожу темные синие вены на тыльных сторонах ладоней, на побелевшие костяшки пальцев.

— Из машины ни ногой, ясно? — обращается командир к стажеру. — Что бы ни случилось.

- Ясно, товарищ старший лейтенант...
- Пээм не заржавел? — подначивает он затем Карпюка.
- Обижаешь!

К табельному оружию тот относится ответственно: ухаживает за ним, как за ребенком.

Оба воодушевлены, хоть и пытаются это скрыть. Сашу удивляет внезапная перемена: оживленные движения командира, улыбка на губах Карпюка, умело ведущего автомобиль на высокой скорости и ловко вписывающегося в повороты. Саше невдомек, что оба старших товарища внутренне взволнованны, потому что не знают, что их ждет на месте предполагаемого преступления. Может, ошибся владелец бизнеса, и на самом деле все в порядке? Подробности неизвестны, остается только гадать в ожидании прибытия на адрес.

У Карпюка невовремя разыгрывается изжога. Он пытается избавиться от нее, прокашлявшись, но жжение где-то в глотке не утихает. Он уже полгода собирается к врачу, да все откладывает, авось само рассосется. К тому же кто-то в отделе рассказал, что

придется глотать какой-то шланг и лежать спокойно долгое время, пока этим шлангом шуруют внутри желудка.

Карпюку всегда нравились минуты, когда он спешит на вызов и на всю улицу раздается сирена, а впереди идущие машины уступают путь. В этом, быть может по наивности, ему видится добрый знак: люди с уважением относятся к их спешке, понимая, что торопится милиция не просто так, а по серьезной причине. Торопится, чтобы исполнить свое предназначение: предотвратить преступление, задержать преступников и все в этом роде. Сержанту нравится осознавать, что он несет долг перед обществом, что оно поручило ему крайне ответственное дело — обеспечение собственного покоя и безопасности. Карпюк никому не доверяет своих мыслей, боясь, что над ним посмеются.

— Ты как наевшийся сметаны кот, — говорит Кривошеин, замечая странно-блаженную улыбку сержанта.

Карпюк понимает ее неуместность и волевым усилием стирает с лица.

Во дворе дома по улице Ткацкой уже стоит гэнээрка капитана Смирнова. Экипаж не успел выйти наружу: видимо, осматривается.

На площадке играют дети; возле подъезда толкуют женщины; стучат костями по ладно сбитому столу пенсионеры — доминошничают. Столько покоя в этой картине, что трудно вообразить, будто где-то совсем рядом происходит что-то противозаконное.

Карпюк отыскивает глазами вывеску фирмы. Буквы кричат сквозь редешую листву: «Компьютеризация всей страны — низкие цены». Насчет последнего он поспорил бы — отвалил кругленькую сумму и только потом разобрался, что лопухнулся, — мог сэкономить, купив в другом месте. Но туда долго добираться, а эта фирма как раз неподалеку. Был бы у него свой автомобиль, как у старлея, — другой разговор...

К повылезавшим из патрулек сотрудникам откуда-то из тени выходит хозяин фирмы, совершивший звонок. Он взволнован, раскраснелся от тревоги; правый глаз часто моргает. Мужчина невысок ростом, с брюшком, с ранней залысиной. Голос его дрожит, половину слов он проглатывает, поэтому сотрудники не сразу вникают в суть его и без того сбивчивого рассказа.

— Вышел на обед. Как обычно, в это время... Живу за голубятней, знаете? Своим ребятам говорю: вернусь и вас отпущу. Правда, они не ходят, с собой приносят...

— Сколько сотрудников в фирме? — уточняет Смирнов.

— Вы успокойтесь, мужчина, — просит Кривошеин, слыша, как тот задыхается от волнения. — Глубокий вдох, теперь выдох, снова вдох...

Немного помогает.

— Только отошел от нашего подвала, как вижу молодых людей. Все в белых рубашках, у одного пакет в руках. Там, наверное, автомат...

Сотрудники смеются.

— С чего вы так решили? — глаза у Смирнова немного выпученные, выглядят неподвижными и пугающе холодными.

— Ну а как... Что еще нести в пакете?

— Еще бы! — неожиданно соглашается Смирнов, вводя в ступор хозяина фирмы. — Ну-ну, и что дальше?

— Они спустились, и я обо всем догадался...

— Конкретнее. О чем догадались?

— Что грабить нас пришли! — восклицает мужчина.

— На каком основании сделали такой вывод?

Карпюк слышит, как кто-то из смирновских бубнит себе под нос: «Детский сад, штаны на лямках...»

— Как на каком основании?! — в мужчине вскипает возмущение. — Они все в белых рубашках, как из одной банды. У них пакет, в котором автоматическое оружие! — Видимо, последним словосочетанием он хочет произвести особенное впечатление. — Ну спуститесь, проверьте, чего вам стоит...

— Вас прежде грабили? — интересуется Смирнов.

— Ну что вы, нет, конечно же! Пока не грабили то есть. Но всю прошлую неделю терлись у входа какие-то мутные личности. Один даже спускался. Поглядел по сторонам, осмотрелся. Понимаете, даже не поздоровался! Нормальные люди обычно...

— Всякое бывает.... — Смирнов задумчиво смотрит на Кривошеина. Тот пожимает плечами. — А мутного в них что?

— Это ощущение. Понимаете? Словами не передать.

— Интуиция? — иронично переспрашивает Смирнов.

— Зовите, как хотите, но у меня на такие вещи... Вот два года назад...

— Сколько людей в белых рубашках?

— Четверо. Точно четверо.

— Как давно зашли?

— Я побежал к таксофону, вон там, у продуктового... Минут десять, не больше. Вы быстро приехали.

— Фамилия ваша как?

— А зачем... Штейн фамилия.

— А имя?

— Миша.

— Ферштейн, Миша, все с тобой ферштейн, — вздыхает Смирнов.

Ни ему, ни Кривошеину в историю не верится. Оба знают таких людей — тихих интеллигентов, готовых раздуть из мухи слона. Бывшие школьные ботаны, нашедшие себе пристанище в новой области и взявшиеся вести бизнес. Такие субъекты часто недоверчивы и мнительны, сказанное ими порой приходится делить на два, а то и на три. В их рассказах больше домыслов, чем фактов. Но отрабатывать приходится каждый вызов, и этот не исключение.

Кривошеину ситуация видится так: пришли клиенты, возможно ребята, обустрояющие собственный офис. Нужна техника. А что пакет? В нем может быть что угодно: деловые бумаги, наличка. Если всех людей с пакетами начать подозревать...

Смирнов сразу отнес хозяина фирмы к паникерам. Есть такая категория граждан: чуть что — ударяются в истерику и называют милицию, обуреваемые различными опасениями и страхами. Но Смирнов на таких никогда всерьез не сердится: лучше перебздеть, чем недобздеть.

— Запасный выход имеется? — спрашивает Кривошеин.

— За углом.

— Дуй туда, — старлей тут же отправляет Карпюка проверить. — Оставайся там.

Сам вместе со Смирновым и его ребятами направляется к подвалу. Миша Штейн увязывается за ними, но его просят присесть в патрульный автомобиль к стажеру Саше.

Дверь подвала раскрыта настежь и подперта половинкой кирпича.

— Что у тебя сегодня? — интересуется Кривошеин у товарища.

— Тихо. С утра торчал в отделе. Скука. Потом выехали. Работали по территории. В сберкассе заскочил по делам. А ты?

— Ничего особенного. Утренняя кухня со старыми знакомыми. Бухают и скандалят.

— Каков поп, таков и приход, — морщится Смирнов.

Он первым переступает порог и спускается по ступенькам в прохладную полутьму, едва-едва разгоняемую одинокой лампой в надтреснутом плафоне-шаре.

— Проверяем, и баста.

Кривошеин обращает внимание на пустой пакет, брошенный на лестнице. По спине пробегает холодок: а что если хозяин фирмы хотя бы наполовину прав?

Смирнов поддевает пакет мыском ботинка и толкает вперед. Кривошеин слышит, как капитан снимает АКС с предохранителя, и поступает так же. За ним ступают двое смирновских подчиненных. Лица Кривошеину незнакомы; видно, новенькие.

Капитан хватается за ручку железной двери, нажимает ее и хочет войти. Дверь не поддается. Он стучит кулаком:

— Откройте, милиция!

За дверью гробовое молчание. Кривошеин слышит, как у него за спиной переминается с ноги на ногу гэнээровец. Внезапная мысль пронзает сознание, заставляет оцепенеть: «Почему Смирнов без жилета? Что за дурацкая беспечность?» Его ребята в бронниках, а сам он без. Снял, когда ходил в сберкассе? Вряд ли.

Капитан стучит во второй раз. Снова ответа нет.

— Ушли на обед, что ли?

— Миша сказал, что они едят на месте. — Кривошеин тоже ударяет растопыренной пятерней по двери, как будто от смены руки что-то изменится.

— Уходим? — неуверенно спрашивает Смирнов.

— А пакет?

— Что пакет? — капитан раздражается. Ему порядком надоели эти предположения. — Ладно, уходим. Отбой! — громко приказывает он и прикладывает палец к губам, чтобы все заткнулось. Один из его бойцов громко стучит сапогами по лестнице, делая вид, что выходит, и, отстучав, замирает в ожидании.

Снаружи слышны велосипедный звонок, чеканка мяча; проходят мимо женские каблучки; грубый голос дважды зовет какого-то Виталика. Постепенно слух перестраивается, и Кривошеин слышит лишь то, что происходит здесь, на спуске в подвал. Почти неразличимо гудит лампочка в плафоне. Один из гэнээровцев тяжело дышит ртом. Ухает в ушах: это пульсирует настороженная кривошеинская кровь. Если бы нервы могли пульсировать, в эту минуту они пытались бы прорваться сквозь кожу на шее, на кончиках пальцев.

Уже нет никаких других звуков, только резкий лязг отпираемой металлической щеколды, торопливый поворот ключа в замочной скважине. А за этим — долгая-долгая глухота, во время которой дверь фирмы медленно открывается, и в образовавшемся проеме возникает лицо человека с чубом, нависшим над лбом.

Глаза. Кривошеин видит эти глаза: замешательство, страх, вскоре сменяющийся вопросом и в конце концов яростью. Как Смирнов и планировал, засевшие внутри повелись на мнимый уход. Но расставив ловушку, капитан оказался не готов действовать, когда она сработает: подвело слишком узкое пространство, крохотный пятачок. Полутьма, ступеньки, сдавивший воздух проход. Один в нем развернется, и все.

Лица Смирнова Кривошеин не видит. Только блестящую поверхность шлема, цепочку на шее, на которой наверняка болтается крестик, погоны с четырьмя звездочками. «Какого черта, — спрашивает он себя, — погоны не прикрыты ремнями бронежилета?»

— Че не отзываемся?

Капитан ошибся, капитан не прочел всего, о чем говорили глаза открывшего дверь молодого человека. Он не заметил в них ужаса зверя, угодившего в западню, зверя, предчувствующего свой финал. Или заметил, но поздно.

Есть не более секунды. Кривошеин подает знак тем, кто стоит позади него. Командует отступить, скорее подниматься к солнечному дню. И когда сам нащупывает но-

гой ступеньку, ведущую вверх, слышит выстрел, а за ним другой. Дверь фирмы захлопывается, а капитан Смирнов, выпуская АКС, припадает плечом к стене, съезжает по ней, оставляя кровавый след, как мазок бездумной кисти на холсте. Так пробует кисть ребенок, получивший доступ к краскам: проводит щетиной широко, жирно, сверху вниз, старательно надавливая. В горле Смирнова жутко булькает кровь, проливается изо рта, обагрывая подбородок, пачкая китель. Капитану важно что-то сказать, может, скомандовать в последний раз. Но он захлебывается.

Кривошеин уже поднялся наверх. Он видит тело Смирнова, распростершееся на ступеньках, автомат, оставленный убийцам, брошенный пустой пакет с какой-то надписью. Он захлопывает дверь, ведущую в подвал, прислоняется к ней спиной и держит, чтобы никто снизу не прорвался сюда, на волю, во двор, где настороженно замолчали старушки, услышавшие странные хлопки, где прекратилась игра в домино, где катится по дороге футбольный мячик, оставленный десятилетним мальчуганом, начеканившим почти сотку. К этим людям Кривошеин допустить бандитов не может, как не может позволить им ускользнуть.

Карпюк видит, как старлей последним выскакивает из подвала, носком ботинка отталкивает кирпич, удерживающий дверь, и захлопывает ее. Отскочивший в сторону кирпич раскалывается на несколько кусков. В детстве кирпичом рисовали на асфальте, чертили классики, черкали стрелки, играя в «казаки-разбойники». Девчонки жадничали, не делились мелками, вредные... «О чем, ей-богу, ты думаешь, сержант?!»

Он отступает за угол и пытается расстегнуть кобуру. Рука дрожит, кнопка не поддается.

Кривошеин командует смирновским автоматчикам срочно вызывать подкрепление и «скорую». Один из них бросается к узику, другой занимает позицию за старым мощным тополем, растущим у детской площадки.

— Леха, следи за вторым выходом! — старлей замечает Карпюка, возящегося с кобурой.

Ни Карпюк, ни Кривошеин не знают, когда и как пойдут на прорыв засевшие в подвале. Теперь очевидно, что у них, как минимум, два ствола. Скорее, три. Если в пакете действительно пронесли автомат, то три. Карпюк вообще не сомневается, что вооружены все четыре бандита. Или больше? Мог же ошибиться Миша Штейн, угадавший намерения незнакомцев. А они еще смеялись над ним... А может, потом выяснится, что он знал гораздо больше, чем выложил милиционерам. Вдруг его давно предупреждали и пасли его контору денно и ночью? Вдруг угрожали? И потому он сразу сообразил, чего хотят хлопцы в белых рубашках.

Один из автоматчиков машет Кривошеину рукой: дело сделано, подмога в пути. Старлей еще сильнее прижимается спиной к двери. Карпюк видит, как напряжены его ноги, готовые войти в асфальт, проломить его. Ему бы не хотелось оказаться на месте командира. Что тот слышит? Поднимаются ли бандиты наверх?

Озадаченный, Карпюк кидается к запасному выходу и дергает ручку, чтобы убедиться, что тот по-прежнему заперт. Ручка тревожно вскрипывает, холодной поверхности двери передается дрожь давно не смазываемого механизма. Карпюк еще крепче сжимает рукоятку пээма. Он не из трусливых, побывал в разных передрягах, не раз стрелял на поражение, однажды застрелил магазинного грабителя, выносившего кассу и шмалявшего от страха во все стороны, но сегодня все иначе: приходится действовать по незнакомому, непредсказуемому сценарию.

Мысль осеняет сержанта: надо подкатиться к подвалу и бампером заблокировать выход до прибытия подкрепления. Кривошеин отскочит в нужный момент, не оставляя запертым шанса, а он, Карпюк, сделает все как следует.

Сержант уже просчитывает свой маршрут: выскочить из-за укрытия за углом, пробежать через весь двор — мимо Кривошеина, мимо автоматчика на площадке, мимо зевак, которых ничто не пугает (им на бегу он прикажет разойтись), — к своему «жигуленку». Ключи в кармане, на брелке с номером автомобиля — Карпюк нащупывает его через брючную ткань. Останется положиться на собственное мастерство. Карпюк — отличный водитель, у него несколько грамот. Водить он выучился в армии. Сначала засел за баранку «Урала», потом был передан в распоряжение полковника Никитина. Афганец со шрамом, перерезавшим подбородок. Как бочок абрикоса. Никитин любил, когда его возили с ветерком, требовал от Карпюка превышать скорость под его, полковничью, ответственность. Тот возразить не смел. Возил и с ветерком, и со смерчем, и с чем угодно. Боялся не войти в поворот, влететь в столб или вылететь в канаву, но мозг как-то сам по себе координировал движения, управлял телом, и ни разу — Никитин хвалил Карпюка перед всеми — не оказался на грани даже малейшей аварии. Когда срок службы подошел к концу, полковник, засобиравшийся на хорошую должность в столицу, звал Карпюка с собой. Карпюк отказался, уже решил для себя: только в милицию. Никитин похвалил непоколебимое стремление подчиненного, но, кажется, затаил обиду. Что тут скажешь... Каждый год Карпюк поздравляет Никитина с двадцать третьим февраля. «Все с преступностью борешься? — смеется в трубку полковник. — А со мной бы жил припеваючи, у меня должность теперь спокойная. И на дачу бы со мной ездил, мне удить не с кем...»

Кривошеин ощущает толчок в спину. Предчувствуя крушение, крысы спешат покинуть судно. Толчок был пробным, прикидочным — кто-то с той стороны хорошенько навалился на дверь плечом, примерился. Второй толчок намного сильнее, отчаяннее. Удар нанесли с ноги. Тремоло передается старлею в поясницу, гудит в кишечнике. После краткого затишья очередной удар в ту же область.

Из служебной машины показывается голова стажера Саши.

— Не смей! — предупреждает старлей, и в этот самый миг его чуть не отбрасывает от двери.

Очевидно, за дело взялись двое бандитов. Они не отступят — кому хочется оставаться запертыми в каком-то подвале? Ремень автомата съезжает с плеча, повисает на локтевом сгибе. Выждав момент, Кривошеин возвращает его на место.

Для бандитов между несвободой и возможностью побега не такое уж нерушимое препятствие. Старлей вынужден это признать. Но он твердо уверен, что автоматчик, затаившийся за деревом, будет стрелять наповал, как только из подвала кто-то появится. Тут уже не до призывов сложить оружие. Убит командир. Кривошеин знает, что желание мести не должно мешать машине правосудия, требующей нейтрализации преступника, его ареста, чтобы затем призвать его к ответу по закону. Сейчас Кривошеину подобная развязка не кажется справедливой.

Об оставшемся лежать на лестнице Смирнове он толком ничего не знает, хотя знаком с ним лет пять. Есть ли у капитана жена и семья, Кривошеин понятия не имеет. Весельчак, задира, легко идущий по жизни человек — так он, наверное, охарактеризует Смирнова, если попросят.

Снова толчок в дверь. На этот раз она приоткрылась сантиметров на десять. Кривошеин собирает все силы, чтобы захлопнуть ее, и ему это удается. И вот наконец крик, обращенный к нему: «Ментяра, уйди! Прибью на...» Чей-то густой бас.

Случись непредвиденное, что скажут сослуживцы о самом Кривошеине? Отличный командир, чуткий, отзывчивый, строгий, когда нужно... Слова хорошо бы смотрелись в стенгазете под официальным портретом. Они не способны тронуть по-настоящему.

Человек — это больше, чем набор эпитетов, даваемых ему сослуживцами. Человек — это... Старлею неприятно представлять, как кто-то говорит о нем в прошедшем времени. Комок застывает в горле, и Кривошеин проглатывает его только с третьей попытки, когда, как рыба, выброшенная на берег, начинает беспомощно ловить ртом воздух. Если бы бандиты пошли сейчас на прорыв, они совладали бы с преградой, а сам Кривошеин, скорее всего, оказался бы на земле.

За дверью становится тихо. Кривошеин смекает, что, возможно, бандиты потянулись к другому выходу. Он подает знак Карпюку, загибает палец, как бы указывая: «За углом!» Сержант прикидывает ухом к двери. Ни голоса, ни шороха. Вот бы иметь такой инструмент, чтобы проникать взглядом сквозь стены! Это многое упростило бы в их службе.

Некстати лезет в голову мотив из вчерашнего телефильма. Какая-то глупая песня с наивными словами. Кривошеин нервно облизывает пересохшие губы. Сделать бы несколько глотков ледяной прозрачной воды, вот тогда силы восстановились бы, вот тогда ему все было бы нипочем. Пока же он чувствует, как эти самые силы тают, как ноги делаются ватными, ненадежными, способными подвести. От злости он бьет локтем в дверь. В ответ с той стороны ударяют тоже:

— Отвали, гнида!

— Гнидой ты на зоне будешь! — отвечает старлей.

На дверь наваливается сразу несколько тел. Как они только там уместились? Бандиты идут ва-банк. Где же гребаное подкрепление?

Карпюк видит, как командир сдает позицию, как медленно приоткрывается подвальная дверь, как ее толкают вперед спутавшиеся, точно щупальца спрута, руки.

— Не дать им уйти! — кричит Кривошеин. Фуражка падает с его головы, он вцепляется в черное тело автомата.

Отскакивая от распахивающейся двери, старлей старается перегруппироваться, развернуться лицом к вываливающейся из подвального зева человеческой массе, оступается, пытается удержать равновесие, но короткая очередь в упор, в пластины бронежилета, валит его с ног. Стрекочет смировский автоматчик. Пули решетят стену позади бандитов, сражают наповал одного из них, ранят второго. Молодой человек с чубом, в белой, выбившейся из брюк рубашке целится лежащему Кривошеину в голову. Оглушенный старлей не вполне понимает, что происходит. Карпюк, опустившись на колено, производит несколько выстрелов в чубатого, но промахивается. Свинец рикошетит от водосточной трубы, отскакивает в кусты. Сержант выпускает последний патрон из обоймы. На рубашке чубатого расплывается алое пятно. Тот словно не чувствует боли.

Выстрел, и только что шевелившееся тело Кривошеина замирает.

Карпюк роняет запасную обойму, тут же подбирает ее, вставляет в пээм. Лицо чубатого, развернутое прямо к нему, кажется знакомым. Еще бы — сегодня утром он видел его на фотороботе.

Карпюк приготовился стрелять, но неожиданно из подвала вырывается еще один человек — пятый, неучтенный. Молодой парень в кедах с развязанными шнурками. Он бежит прямо на Карпюка, перекрывая обзор. Раздаются одиночные выстрелы, автоматная очередь, женский вскрик, звон обрушившегося на асфальт стекла.

Сержант поднимается навстречу бегущему и ударом под дых валит наземь. Ставя поверженному бегуну ногу на грудь, надавливая на податливые ребра, он стреляет в чубатого, замешкавшегося над телом Кривошеина. Три выстрела мимо. От волнения у Карпюка сбился прицел. Это может стоить ему жизни. Неожиданно он обнару-

живает, что автоматчик, укрывавшийся за тополем, распростерся рядом со стволом мощного дерева. Он пытается поднять руку. Значит, пока жив. Второго сминовского бойца Карпюк отыскивает не сразу — тот затаился за гэнээркой.

Дуло пистолета направлено в глаза Карпюку. Половина рубашки чубатого пропиталась кровью. Щелчок, второй. Осечка. Где-то там, в ударно-спусковом механизме, смерть запуталась в боевой пружине или зацепилась за боек и повредила с Карпюком.

Сержант прикидывает расстояние до чубатого; тот бросает хищный взгляд на автомат Кривошеина. Сержант мгновенно должен решить: брать живым или стрелять на поражение. Чубатый кидается к оружию, сержант жмет на спусковой ключок. Бандит вскрикивает, валится на колени, катится кубарем.

Адреналин зашкаливает. Карпюк отбрасывает в сторону оружие, винтит чубатого, заламывая руки за спину, пытаясь сомкнуть на запястьях наручники. Мимо проносится не усидевший на месте стажер Саша. Он набрасывается на бандита, сбитого Карпюком ударом в грудь. Наваливается своим щуплым, длинным телом, превратившимся в тонко начертанную запятую, в странную закорючку, и не дает противнику подняться. Карпюку это нравится — Саша ведет себя храбро, рискует собой, рискует собой, хотя мог бы этого не делать.

Кривошеин пытается приподняться. Значит, не убит, значит, пуля попала не в голову, как показалось с расстояния. Если бы не обстоятельства, Карпюк готов разрыдаться от счастья. И бог с ним, что не по-мужски это, — друг-то жив!

Спиной Карпюк чувствует чей-то взгляд. Это из темного закутка возле входа в подвал глядит на него еще один товарищ чубатого. Похоже, никто не заметил, как он шмыгнул в узкую нишу и выжидал подходящий момент, чтобы выскочить чертом из табакерки.

Преступник вооружен. Его темные, маленькие, азиатские глазки изучают ситуацию: считают что-то с лица Карпюка, переносятся на Сашу, возящегося с задержанным.

— А ну брось оружие! — приказывает Карпюк голосом, которого у него никогда не было: властным, громким, четким. — Лечь на землю мордой в пол!

Где-то неподалеку взывают сирены.

Раскосые глаза испытывают Карпюка — кто кого пересмотрит.

Во двор влетает патрульная «Волга», за ней другая.

Подручный чубатого теряет самообладание, бросает пистолет. Медленно поднимает руки, и Карпюк, при его появлении затаивший дыхание, тяжело выдыхает, выпуская воздух раздувающимися ноздрями.

Все это оказывается игрой: заметив секундную расслабленность Карпюка, бандит бросается наутек. Карпюк не успевает сообразить, как тот оказывается за углом. Стажер Саша растерянно глядит азиатку вслед.

Сержант несется вдоль бульвара; метрах в двадцати впереди беглец. Карпюк неотрывно глядит на мелькающие пятки, на грязно-белые подошвы кроссовок. Громко завывая, катит наравне с удирающим патрульный «форд». Прохожие расступаются, отскакивают в стороны, чтобы не оказаться вовлеченными в водоворот погони. Мальчишка, только что звеневший звонком на руле велосипеда, неуклюже сворачивает и въезжает в решетку ограды, растущей вокруг школьного двора. Карпюк здесь учился, ходил на линейки, прощался со школой во время выпускного вечера. Ночью пил с товарищами вино на ступеньках, драпал от дружинников, смеялся свисткам, раздававшимся за спиной. Драпать было весело, радостно; на сердце было легко; Карпюк считал себя самым свободным и счастливым человеком на свете. Потом валялся на мокрой от росы траве на лужайке возле парка, считал растворяющиеся в светлеющем небе звезды.

Теперь он минует на скорости некогда родной, знакомый до трещинки на асфальте школьный двор, и ему мерещится, что мелькают на нем праздничные белые фартуки девочек, разлилось море бантов. Перед школой гудит праздник. На самом деле перед нею пусто, только старик завхоз разложил на ступенях метлы и пересчитывает их.

Вслед за беглецом Карпюк перебегает дорогу на красный, слышит взвизгнувшие тормоза.

Без бронезилета бежать было бы легче. Чтобы избавиться от него, нужно остановиться или хотя бы притормозить. Этого сержант позволить себе не может.

Из проезда впереди резко выскакивает «Волга» с синей полоской на борту. Бандит пытается предотвратить столкновение с ней, но ударяется о переднее крыло, засакивает на капот и, перевалившись, бежит дальше. Карпюк замечает: бандит захромал. Это придает сержанту сил, хотя кажется, что их резерв давно исчерпан. Уже нет кислорода в легких, словно они перегоняют только углекислый газ; он все больше задыхается. Плывут перед глазами круги, прочие геометрические фигуры; сердце заходится, бухает неритмично, сбивчиво. Во рту странный привкус — чего-то горелого, будто зачадил внутри сержанта механизм, управляющий его телом.

Расстояние между ним и удирающим сокращается. Узкоглазый хромает на обе ноги, начинает заваливаться на бок, теряя координацию. Двигаясь с той же скоростью, что и он, катит по дороге «форд». Звук сирены оглушает. Прохожие молчаливыми изваяниями застывают по обе стороны улицы. Из телефонной будки выглядывает мужчина с дипломатом в руках. Он прервал разговор, чтобы посмотреть на погоню.

В горле у Карпюка что-то надтреснуто хрипит. Он вытягивает руку вперед, пытается ухватить замедлившегося бандита. Всего метр, какой-то метр, и он остановит его, ткнет мордой в асфальт, заставит умыться кровью, потребует попросить прощения сразу за все — за каждый проступок в своей ничтожнейшей жизни.

Дважды пальцы сержанта хватаются за воздух, но на третий раз он цепляется за плечо беглеца, тянет его назад. Он ничего не требует, молчит, только тяжело дышит. Крепко держит поверженного врага за грудки, трясет его, не разжимая губ, задыхаясь, теряя сознание.

Из «форда» выскакивают товарищи, помогают Карпюку подняться, вяжут его добычу, волоком тащат в патрульный автомобиль, ластают без всякого почтения, не щадя, причиняя задержанному сильную боль. Он истошно орет, сыплет проклятиями. Карпюку хочется рассмеяться, но он прикрывает глаза. Струйки липкого пота, мешаясь с пылью, текут по лицу.

Спустя четверть часа сержант сидит на бортике песочницы в том самом дворе, где все началось. Он пересыпает горстку песка из одной ладони в другую, по-своему отмеряет время. В «скорую» только что загрузили труп Смирнова, теперь несут к белым распахнутым дверцам носилки со старшим лейтенантом Кривошеиным. Не успели. Возможно ли было успеть и помочь? Карпюк не знает. Артема больше нет, но Карпюк этого не понимает.

Происходящее для него нереально: и осенний день, и облюбованная солнцем улица, и фигуры людей, и детский крик из коляски. Голова гудит, как колокол, в который угодил пушечный снаряд.

Карпюк сыпает в песок обратно в песочницу, хочет подняться, но остается сидеть. В поясице адская боль; отчего-то трещат ребра, как будто сержанта долго и беспощадно избивали.

Позвонить бы Наде, обо всем рассказать. Рассказ выйдет путаным, потому что Карпюк пока не может сложить в голове ясную картину произошедшего. Дурной сон,

редкостный кошмар и — внезапная жажда немедленного пробуждения. Он помнит, как говорили в детстве: чтобы проснуться, нужно ущипнуть себя во сне. И он щиплет, щиплет кожу на руке, собирая ее в складку, сдавливая изо всех сил. Сон не проходит. «Это не сон!» — догадывается наконец Карпюк, живший надеждой, что ему все приснилось. Думал: «Вот проснусь, чмокну Надьку, спущу ноги на холодный линолеум, пробежусь до балкона, прикрою его — ночь выстудила комнату, из-под одеяла не высунешься...»

— Давай домой подвезу? — предлагает Дегтярь. Он был за рулем «Волги», преградившей путь азиатке.

— Мне тут полшага, — тихо отвечает Карпюк, хлопая себя по карманам в поисках сигарет.

Пачка осталась у старлея.

— Все в порядке? — спрашивает Дегтярь.

— Нет, все не в порядке. Ничего не в порядке, если быть точным.

— Слушай... — товарищ хочет что-то сказать, но умолкает. Карпюк мотает головой, не желая слушать. — Ладно, я пока постою вон там, с ребятами. Надумаешь — подброшу.

Кривошеин и Карпюк с детства играли в одну игру. Для первого она была забавой, для второго — причиной для огорчений. Началось все, когда Артем уверенно заявил: «Знаешь, ты никогда не залезешь на это дерево» — и указал на дуб. И Карпюк не залез. Попытался карабкаться, но спасовал. А Артем залез и сидел на толстом суку, высмеивая трусость друга. Кривошеин говорил: «Знаешь, ты никого не сделаешь на стометровке». И действительно, Карпюк вечно приходил последним, а Артем каждый раз побеждал. Он говорил: «Ты никогда не поцелуешь девчонку первым, потому что кишка тонка». Первый поцелуй в жизни Карпюка был инициирован курносой Лидой, которой, вероятно, надоело томиться и ждать, когда ухажер сделает первый шаг. Она схватила обеими руками его лицо и притянула к своему... Карпюк, разумеется, рассказывал об этом иначе.

Каждый раз он обижался на друга, хотел разругаться с ним — по-настоящему, чтобы тот все понял, но ни разу даже не попытался. «Ты никогда не выберешься из-под тещинового влияния, — говорил Артем. — Только если она возьмет да и помрет». Карпюк не спорил, понимая, что, в общем-то, друг прав.

— Знаешь, — сказал он недавно, обнимая Карпюка за плечи, — ты всегда будешь сержантом. Не обижайся, но в тебе мало инициативы.

Карпюк улыбается. Ему очень хочется знать, что Кривошеин сказал бы про него сегодня. Если бы только остался в живых.